

© (Тув)
У-49

ISSN.0130.531X

УЛУГ·ХЕМ

24 1988

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ



СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
ТУВИНСКОЙ
АССР

24/88

УЛУТ
ХЕМ



Литературно-
художественный
альманах

Основан в 1946 году

ТУВИНСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЫЗЫЛ — 1988

С (Тув)
У 49

Редакционная коллегия:

А. А. ДАРЖАЙ, А. К. КАЛЗАН, С. В. КОЗЛОВА (редактор), Д. С. КУУЛАР,
Ю. Ш. КЮНЗЕГЕШ (ответственный редактор), Г. И. ПРИНЦЕВА,
О. О. СУВАКПИТ, С. С. СЮРЮН-ООЛ, М. А. ХАДАХАНЭ.

У $\frac{4700000000-33}{133 (01)-88}$ 20 - 8

© Тувинское книжное издательство, 1988.

Георгий снимал комнатку, сидела соседка Ирипа — «разведенка», как называла ее старуха, владелица дома.

Ирипа, проходя следом за Георгием в его комнату, сказала:

— Тебе гостинцы из деревни привезли...

— Кто, кто привез? — враз охрипнув, спросил Георгий.

— Да, не бойсь, не бойсь: не жена, а какая-то девочка.

— Она что-нибудь спрашивала? — встревожился Георгий Иванович.

— Поинтересовалась, кто я буду...

— Ну и ты, ты что?

— Я промолчала, но она, я думаю, все поняла, — многозначительно подмигнув, расхохоталась Ирипа.

— Ты, шлюха... А ну, убирайся отсюда! — рас свиренев, потребовал Георгий.

...Летом он приехал в Кызыл-Тайгу. Подходя к дому жены, Георгий тревожно подумал: «Знает Елена о моей паскудности или нет?»

Войдя в избу и глянув на жену, успокоился: не знает, ничего не знает...

Перед самым отъездом Георгий стал звать жену в город.

— Гоша, к чему попусту говорить? Не оставляю я маму одну... Да и что нам-то метаться туда-сюда. Ведь после окончания техникума тебя не оставят работать в Красноярске.

— Нет, не оставят, — согласился он, — ну и что? Сюда, к матери, вернемся.

— Разве это дело?

— Я вижу, для тебя директорство важнее нашей семейной жизни! Другая бы...

— А я не другая! — возмутилась Елена и пошла в школу, присмотреть за идущим там ремонтом.

«До чего глупо вышло!» — думала она, сожалея о ссоре с мужем.

Георгий уехал. Шел месяц за месяцем, а писем от него не было.

Дарья Ивановна, примечая, что дочь нелегко переносит размолвку с мужем, ворчливо выговаривала ей:

— Друг перед дружкой гордостью похваляетесь! А кому она нужна, ваша гордость? Кому? Елена, напиши ему письмо, муж ведь...

— Первая!? Ни за что! — заявила Данииловна.

— Верно говорят: розно жить — добру не быть! — посетовала Дарья Ивановна.

В Кызыл-Тайгинскую школу приехала инспектор района Елизавета Елизарьевна Старокожева. Побывав на уроках учителей, она в заключительном разговоре с директором школы возмутилась:

— Что вы позволяете учителям в своей школе?!

— Школа государственная, а не моя,— мягко поправила Елена Даниловна.

— Вот именно, государственная! А вы разрешаете некоторым учителям проводить эксперименты... Школа — не опытная станция!..

— Елизавета Елизарьевна, ничего страшного мы не делаем. Да, организуем опрос учащимися друг друга... И, знаете, это способствует развитию их речи... Кроме того, мы этот метод чередуем с другими.

— Выходит, подменяете учителя учениками... А письменные рецензии как понимать?

— Их делают только ученики старших классов, и не очень часто. Понимаете, рецензирование учащимися ответов своих товарищей способствует развитию их мышления, развивает самостоятельность, творческую мысль... Поэтому мы и практикуем его.

— Елена Даниловна, вы дадите ученикам такую волю!.. Знаете чем это похаживает? Ан-ти-пе-да-го-гич-но-стью! Из-за вас наш район может прогнать на всю республику. На всю!

— Но применяемые нами методы дают положительные результаты,— возразила Елена Даниловна.

— А я как инспектор района запрещаю вам любые отклонения от методик, утвержденных Министерством народного образования. Любые!

— Я не согласна с вами, Елизавета Елизарьевна. Ведь некоторые методички так устарели, что...

— Ваше дело: будьте не согласны, но делайте так, как установлено,— перебив директора, потребовала инспектор.

— Знаете что?— попыталась было продолжить Елена Даниловна.

— Не знаю и знать не хочу. Наверху лучше нашего знают, что устарело, а что — нет...

Распрощавшись, Елизавета Елизарьевна направилась в райцентр. Сидя в автобусе, она думала:

«Возможно, Елена Даниловна и права... Да что с этого толку? Ведь не пойду же я из-за ее причуд на риск. У Бульбаровой, заврайоно, я на хорошем счету. Что мне еще надо?»

Старокожева давно решила: во всей своей работе придерживаться указующего направления, только его! Елизавета Ели-

зарьевна до дрожи в сердце боялась вернуться в школу. В «ад крошечный», как она называла школу, пусть идут другие..

Елена Даниловна, идя домой, вспомнила разговор с инспектором и запоздало негодовала: «Какое-то миссовое сумасшествие началось: все, кому не лень, ограничивают учителя рамками запретов. А здраво подумать: разумно ли это? И Старокожева — туда же... А сама-то, сама-то, не проработав в нашей школе и году, ушла в районо. Бывало, плакалась в учительской, что не может справиться с классом. Теперь уже и начальственный, взыскующий тон появился, и безоговорочная требовательность. Откуда только взялось!

По существу дела мы, учителя, правы. Безусловно, правы! Да только что теперь делать?— Глянув на солнце, на голубеющее небо, директор улыбнулась и упрямо решила:— То, что и раньше!»

Сзади послышалось всхрапывание коня. Елена Даниловна посторонилась, уступая дорогу.

Совхозный конюх, остановив кошеву, позвал:

— Даниловна, садись, подвезу — по пути.

Карала — конь черно-белой масти, — дико всхрапнув, стремительно понесся вперед. Комья снега полетели из-под копыт жеребца.

На повороте, у столба, дорога до блеска раскатана, и старый конюх крикнул:

— Держись, Даниловна!..

Вдруг кошевка со всего маху хлобystнула о столб...

Елену выбросило на снег. А жеребец, испуганный ударом, еще яростнее помчался по улице...

Подбежавшие от школы ребята увидели на снегу недвижимую учительницу, громко закричали:

— Ой-ёй-ёй! Башки убили, башки убили!..

С трудом удалось конюху осадить жеребца и повернуть назад. Уложив Даниловну, не приходящую в сознание, в кошеву, он шагом направил коня к медпункту.

«Посадят меня», — решил старик.

Когда кошевка остановилась, женщина открыла глаза.

— Даниловна, ты жива?! — вздохнул шумно конюх. Помог подняться ей по ступенькам невысокого крыльца медпункта.

— Экии! — поздоровалась директор с фельдшером.

— Экии, башки, — ответила та.

— Оюновна, осмотри меня, пожалуйста. Ушиблась я.. Головушку будто кто разрывает. И подташнивает...

Фельдшер, осмотрев Елену, заключила:

— Сотрясение мозга и небольшие ушибы... Это пройдет. Но где вы так упали?

— На кошке прокатилась... Оюновна, я ведь ребенка жду.

— А-а-а,— протянула фельдшер и принялась осторожно прощупывать живот молодой женщины.

Даниловна, встревоженная долгим осмотром, спросила:

— Оюновна, жив ли ребенок?

— Вроде шевелится,— успокоила ее фельдшер.

В мартовскую субботнюю ночь Дарья Ивановна прибежала за фельдшером:

— Оюновна, идем скорее, Елене плохо...

Фельдшер, торопливо одеваясь, тревожно подумала: «Неужели что повредилось внутри при падении?!»

Но, войдя в комнату Елены и осмотрев женщину, она спокойно сказала:

— Э-э-э! Да у нас главное начинается... Так, так... Все идет, как положено. Все в норме, все в порядке...

Когда под утро разноголосо запели петухи, Оюновна весело позвала:

— Ивановна, иди сюда. Ак-кыс¹ родилась! Эки-дир, хорошо, хорошо: помощницей матери будет!

Дарья, прикорнувшая ночью на диване и незаметно уснувшая, мгновенно проснулась и поспешила в комнату дочери.

Елена беспокойно спросила:

— Оюновна, пожки, ручки целы ли у моей доченьки?

— Целы, целы... Ой, да как мы звонко кричим!

— Покажи, Оюновна.

— Гляди, гляди, Даниловна, какие мы красненькие и беспомощные.

Елена, посмотрев на дочь, облегченно вздохнула и успокоилась.

Днем в сенях послышались голоса, дверь распахнулась и в дом вошли учителя. Из большого свертка, положенного ими на стол, вывалились погремушки, соски...

Дарья Ивановна усадила гостей за чай.

Разошелся народ, Ивановна улеглась спать. В доме враз стало тихо. Подступила к сердцу Елены непонятная печаль. «Что это мне так тоскливо стало?! Уж не случилось ли чего с Гошей?»— подумала она и решила завтра же написать ему письмо.

¹ Ак-кыс -- белая девочка (по-тувински).

Заплакала Танюшка и ожил дом, наполняясь ее требовательным криком.

— Солнышко ты мое, радость ты моя! Хорошо, что ты у меня есть!— бережно прижимая к груди дочь, наговаривала Елена и негромко запела:

Гонит ветер непогоду:
холод да снега.
Тебе день всего отроду,
крошечка моя.
От любой беды-ненастья
сердцем заслою.
Не чурайся дочки, счастье!
Баюшки-баю, баюшки-баю...

На третий день неожиданно-негаданно пришла телеграмма от Георгия. Он трогательно поздравлял жену с новорожденной. Дарья Ивановна, глядя на улыбающуюся дочь, прошептала: «Так-то лучше будет, доченька!»— И с неудовольствием припомнила дочерний наказ: «Мама, не пиши ничего Гоше!»

Через несколько недель зашла к Елене сестра мужа. Синие глаза зареваны, руки нервно теребят крашек шали...

Обмерла Данииловна: чует недоброе, ждет, что скажет золовка.

— Пес он, пес блудливый! Лена, подай на него в суд, пускай алименты платит...

— Да о ком ты, Полина?

— О Гошке! О ком еще?!— разревелась золовка, говоря сквозз всхлипывания:

— Ездил я к нему, узнала: схлестнулся паскудник в Красноярске с одной... Горе-то какое...

Давно ушла Полина, давно наступила ночь, а Елена сидит. За окнами, не закрытыми занавесками, плывет луна; сонно шелестит ветер по бревенчатой стене дома. Не хочется Данииловне верить в сказанное золовкой: «Да нет же, нет: не бросил он нас с Танюшкой! Не мог он такое сделать, не мог!»

Май-травник, поджидая в гости лето, наряжал леса, рассыпал по лугам полыхающие огни. Елена шла берегом реки, называемой местными жителями Дая-Хем — Жимолостная река. Свистели весело скворцы: «Здесь мы, здесь мы!» Успокаивающе бормотала вода: «Да, да, да...» Данииловне припомнилось, как они с Георгием, бывало, бродили здесь веснами.

А теперь: луговые травы под ноги ложатся, луговые травы по ночам мне снятся...

Дома Елену ждал гость. Она чуть не ойкнула, увидев мужа, сидевшего у окна с дочерью на руках.

Танюшка ручонками потянулась к матери. Дарья Ивановна хлебосольно выставила на стол угощения. На лавке лежала куча игрушек и детского белья, должно быть, привезенного Георгием.

Дарья, заметив, что Елена вот-вот вспылит, прошла за ней в горницу и вполголоса попросила:

— Ленушка, будь с ним помягче, ты ведь женщина. Не оброни обидного слова, оставь при себе. Мир-то постарее и помудрее нас, ему ведомо: жизнь, что огород,— в ней все растет...

Когда Дарья Ивановна ушла в сени, Георгий виновато молвил вышедшей в кухню Елене:

— Вот приехал...

— Мог бы и не приезжать, никто тебя здесь не ждал...

— Лена, не надо... Я виноват, знаю... Но давай поговорим по-хорошему...

— Ты мне вот что скажи, Георгий: это правда, что в Красноярске... — И Данииловна, не договорив, отвернулась к печке, сглатывая слезы. Она не хотела, чтобы их видел муж.

Уставившись в пол и помолчав, Иванович хрипло ответил:

— Было... Но теперь я...

Открытые карие глаза Елены наполнились слезами, губы обидчиво задрожали... Повернулась к мужу, закричала:

— Убирайся, сейчас же убирайся отсюда!

— Лена, остынь, у нас ведь дочь... — в замешательстве ероша волосы на голове, попросил Георгий.

— Уходи, ухо-ди!

— Елена, не спеши... ведь оба пожалеем...

— Я?! Да никогда! И знай, за тобой не сделаю и шагу.

Дарья, вбежавшая в избу, заохала:

— Елена, что ты делаешь! Опомнись, одумайся! Кому досадишь-то, кому?! Да только Танюшке и себе.

Георгий, помедлив, ушел. Гулко простучали его туфли по широким половицам сеней.

— Поверни, поверни его! — потребовала Дарья Ивановна.

— Унижаться перед ним! Нет, нет... Никогда!

— Да не реви ты коровой, не реви, ребенка напугашь, — рассердилась мать.

Тихо стало в доме. Вроде скрипнула калитка. Может, Георгий возвращается... Но — нет. Тихо во дворе, тихо в сенях.

Горько на душе...

Не во поле — во лесу буря разрыдалась.
Ни на день — на горький век я одна осталась...

Давней симпатией Ивана Лыскова, работавшего комбайнером в совхозе, была Елена. Несколько лет назад Дарья Ивановна говаривала ей:

— Ваня-то как за тобой увивается! И что ты от него поворотить? Характером он добр, собою пригож. И какого ты принца ждешь, не пойму...

— Не принца, мама, а любимого. Самого любимого,— хохоча, отвечала дочь в редкие наезды из Красноярска (она училась в педагогическом институте).

Иван, узнав о разладе в семейной жизни Елены, раз как-то вечером зашел к ней. Поздоровался и без всякого вступления предложил:

— Данииловна, давай уедем отсюда. Танюшка дочерью мне станет. Ивановна захочет с нами — пусть едет.

Молчит Елена, качая Танюшку.

— Уедем, Данииловна. Ты никогда не пожалеешь об этом...

— Хороший ты мужик, Ваня! И уважаю я тебя, но не надо... Прошу тебя, не надо! У тебя своя семья, у меня мое горе... Мое, Ваня! И к чему множить его...

Георгий Суторин послал Елене денежный перевод. Она от него отказалась. Дарья Ивановна, недоумевая, возмутилась:

— Ну, девка, ты уж чересчур горда! Другие вон в суд на алименты подают, а ты от посланного отмахиваешься. И чего ты ждешь, не пойму. Осталась вот: ни женой, ни вдовой, ни девкой молодой. А гордыни писколечко не поубавилось. У нас война мужиков поотнимала... А у вас кто? Кто, спрашивается? Да себялюбие ваше непомерное... Ты не думаешь, видно, о том, что твоя дочь не будет знать слова «папа». Да и сама (придет время) захочешь душой отогреться около родного человека. Ан — нет его!

— Одна Танюшку выращу,— твердо ответила Елена.

Дарья Ивановна подумала, смягчаясь: «Поздновато к моей дочери весна пришла, поздновато... А поздняя любовь разборчива. Ох, разборчива! Да что поделаешь? У каждого свои весны: у кого ранние, у кого и поздние...»

Только вышла Елена Данииловна на работу, как ее вызвала к телефону Бульбарова, заврайоно.

— Вы знаете, что в вашу школу едет комиссия из облоно? Не знаете? Вот я вам и сообщаю... Так что приготовьтесь... Да все двойки «закройте» сегодня же.

— По ученики уже разошлись по домам: как их теперь опросить? Завтра займемся этим,— ответила Данилиловна.

— Никаких завтра, только сегодня... Да по мне, хоть авансом ставьте им тройки, но чтобы комиссия незакрытых двоек в журналах не обнаружила.

«И во имя чего эта ложь, и кому она пужна?!»— горько подумалось Елене Данилиловне.

После комиссии в Кызыл-Тайгинской школе инспектор Старокожева, готовящая документацию по итогам проверки, невольно восхитилась: «Как это Елене Данилиловне удастся безо всяких видимых усилий держать дисциплину на уроках?! Ведь она никогда не призывает учеников к порядку: он как бы сам собою создается... Может быть, она берет директорским авторитетом? Но и у других учителей ее школы на уроках тоже деловая атмосфера... А как высок коэффициент полезного действия самих учащихся. Правда, у преподавателя истории, хоть и царит на занятиях «мертвая» тишина, работает на уроках только она сама, а ученики слушают и молчат, упорно молчат...»

Закончив писать отчет, Елизавета Елизарьевна решила, что о нарушениях в составлении поурочных планов в школе она доложит заведующей районо устно. А то облоновская комиссия, узнав о них, поставит в вину инспектуре районо за это упущение.

На другой день Бульбарова позвонила Елене Данилиловне и потребовала:

— Объясните, что за поурочные планы вы разрешили учителям своей школы? Так, так... Творческие, говорите? Позволяют накапливать дидактический и методический материалы... И вы такие пишете, Елена Данилиловна? Ну и ну, что опять у вас творится?! Так вот, я обязываю вас писать ежедневные планы так, как их пишут все учителя Союза. И в обязательном порядке в общей тетради и с указанием числа, месяца и года. Вы понимаете, последнее для чего... Что?! Такие планы считаете отписками? Считайте, Елена Данилиловна, на доброе здоровье... Но делайте так, как все... Вот, если на этот счет поступят указания из облоно, тогда другое дело. А пока: ни-ни...

Данилиловне хотелось крикнуть в трубку: «Евдокия Матвеевна, да приезжайте к нам сами! Присмотритесь, внюхайте в наши дела! А тогда уж и запрещайте вся и все...» Но, сдержавшись, горько подумала: «Что толку взывать к глухому, ведь не достучишься...» Ее всегда бесило такое «телефонное» руко-

водство, и она, негодуя, вопрошала: «Придет ли когда-нибудь конец этому?!»

Все же сообщила коллегам о категоричном требовании районо. Повозмутились учителя, да на том и остановились. Но некоторые решили писать двойные планы: одни — для комиссий, другие — для непосредственной работы на уроке. Кто-то предложил отмечать в поурочных планах наиболее удачные в методическом отношении места. И то, что Бульбаровой казалось нарушением, учителями воспринималось как накопление педагогического опыта, которое никогда не совершить одним скачком.

Спустя много дней, когда инспектор Елизавета Елизарьевна занималась работой другой школы, ее внезапно осенило: «А ведь у кызыл-тайгинских учителей и ее директора потому и не стоит на уроках вопрос о дисциплине учащихся, что они их весь урок занимают делом. Как я этого не поняла раньше? Да, не проста, не проста Елена Данииловна!»

Бывая в школах, Старокожева не без гордости называла себя куратором. Сегодня она с горькой иронией подумала: «Ну, какой я куратор, если видимое не разглядела».

Елене Данииловне после развода с мужем праздники вдруг стали в тягость. В эти дни она испытывала муки ущербности. Только теперь она поняла, как обидно одинокой идти по улице в праздник. Именно в праздник, когда все идут парами. Глядя на односельчанку Федосью, прозванную за неряшливость Фефелой, Елена грустно думала: «Вот даже Федосья и то не одинока».

Что живется Федосье плохо, Данииловна слышала. Да глаза-то видели другое: в праздники Федосья на пару с мужем идет к кому-нибудь в гости или в клуб смотреть кино...

«А я — не хуже как будто бы других, а вот одинока», — думала Елена и, чтобы не травить себе душу, приноровилась она проводить праздники дома. Душевное спокойствие находила в дочери и в книгах...

Дарья Ивановна говаривала частенько:

— Елена, и что ты никуда не ходишь?! Только и знаешь — работа да дом. Иди, развейся маленько, не старая ведь еще...

Данииловна отмалчивалась, в душе соглашаясь с житейской правдой материнских слов.

Трехдневные праздники закончились. В школе директора дождалась направленная районо новенькая учительница. Елена Данииловна пригласила ее в кабинет.

— Как хорошо, что вы приехали: мы задыхаемся без учи-

теля русского языка. Вас звать,— поглядела в приказ директор,— Ксенией Евгеньевной. Сегодня, Ксения Евгеньевна, отдохайте с дороги, а завтра — на работу. С расписанием уроков познакомьтесь в учительской. Да! А вы, Ксения Евгеньевна, раньше в Туве жили?

— Нет, я красноярская...

— Я тоже там, в Красноярске, училась.— И Елена Данииловна замолчала, вдруг вспомнив, как познакомилась в Красноярске с Георгием.

«Счастлиное было время, и как оно невозвратно!» — подумалось ей.

Тряхнув упрямо головой, Данииловна продолжила разговор:

— Ну, а тувинские фамилии, Ксения Евгеньевна, умеете читать?

В голубых глазах молоденькой учительницы вспыхнули насмешливые огоньки: мол, написанного кто не прочтает?

Елена Данииловна заметила насмешку, однако спокойно продолжила:

— Когда я приехала работать в нашу школу (за два года до этого моя мама переехала жить сюда, в Кызыл-Тайгу), то со мной вот что произошло. Начала я на уроке знакомиться с учащимися. Читаю по списку в классном журнале фамилии ребят, ученики, как положено, встают и бойко отвечают: «Я... да... тут...» Все идет нормально. Но только прочтала я фамилию Ма-а-ды, как весь класс захохотал. Я недоумеваю, а девочка-тувиночка, сидящая за первой партой, сочувственно говорит мне:

— Башкы, а башкы, вторая «а» в Колниной фамилии не читается.

Услышав это, засмеялась и я.

На перемене мальчишки побойчей взялись Колю дразнить:

«Ма-а-ды, Ма-а-ды...» Вижу, мальчику обидно. Я и говорю:

— Ребята, разве Коля виноват? Это ведь я ошиблась...

— Ча, ча, башкы! Мы больше не будем.

С тех пор я хорошо усвоила, что в тувинском языке из гласных, стоящих рядом, читается одна.

Насмешливые огоньки в глазах Ксении Евгеньевны погасли и она признательно сказала:

— Спасибо, Елена Данииловна! Я бы тоже ошиблась, а теперь знать буду...

Школьные будни всегда захватывали Елену Данииловну, отдававшуюся работе с увлечением и даже с фанатизмом. Но в последние годы она все более и более сомневалась в нуж-

ности того, что приходилось ей вместе с учителями делать, чтобы школа имела за каждую четверть процент успеваемости не ниже 96,8.

Елена Даниловна хорошо помнит то время, когда процентоманин-обманин, как она ее горько называла, не было. Знает и то, что погоня за процентами началась с введения обязательного всеобщего среднего образования. Собственно, против всеобщего Елена Даниловна ничего не имела. Только считала, что в этом вопросе не все основательно продумано. Она глубоко верила, что смысл работы учителя не в отметках, а в том, чтобы не мелели души людские, чтобы не оскудевало в народе нравственное начало...

«Но разве мы, учителя, не примирились с нравственным оскудением молодежи! Не совсем примирились: много говорим и говорим по этому вопросу... Но действенного ничего пока не делаем. Да и знаем ли, что делать?» — раздумывала Даниловна.

На педсовете по итогам четверти директор, слушая отчеты классных руководителей, думала: «Жаль, что наш педколлектив не разновозрастной».

Елена Даниловна считала: учительский коллектив, где работают молодые и умудренные жизненным опытом, зрелые педагоги, всегда более жизнеспособен.

Отчеты учителей закончились, и тут слово попросила Галина Геннадьевна, учительница истории.

В директорской зашептались: «Ну, начнет опять пудить!»

Учительница, выйдя к столу, начала:

— Товарищи, я возмущалась и буду возмущаться тем, что наши ученики плохо знают русский язык. Оговорюсь, учащиеся Елены Даниловны выходят из стен школы, как правило, грамотными. А вот другие преподаватели русского языка явно недорабатывают...

Сидящие за партами учителя зашумели, заговорили...

Но Галина Геннадьевна невозмутимо продолжила:

— Понимаете, у меня на уроках ученики могут при ответах допускать казусы. Так, вместо слова «гарпун» они говорят «горбун». Вместо «первобытнообщинный» изрекают «первоовшинный».

Послышался смех. А преподаватель математики спросила:

— Галина Геннадьевна, а не себя ли вы критикуете? Ведь каждому понятно, что работа со специальной терминологией — обязанность предметников.

— Словарная работа — не мое дело. За проверку тетрадей

мне не платят... У меня сугубо устный предмет и на письменное время не остается...

Предсовет зашумел, загудел так, что было невозможно понять: кто и что говорит.

«Ну, прямо детский сад»,— подумала директор и потребовала:

— Товарищи, товарищи, потише! Давайте говорить по одному...

Шум стих и начала говорить Елена Даниловна:

— Товарищи учителя, а, может быть, вышел приказ министра просвещения не учить детей грамотности? А?

Все засмеялись.

— Смешно?! Конечно, смешно... Но вы, Галина Геннадьевна, разве не это предлагаете?! В пятом классе, где русский язык с начала учебного года велся кем придется, в контрольной работе за четверть больше половины учащихся не поставили ни одного знака препинания. Ни одного! Если предметники в обучении детей грамотности займут стороннюю позицию, то мы очень скоро «достигнем» того, что знаки препинания для наших учеников превратятся в знаки за-пи-на-ния. Я считаю, что совершенно справедливы реплики по поводу вашего выступления, Галина Геннадьевна. Совсем недавно пришла в наш коллектив Ксения Евгеньевна. Я побывала на многих ее уроках. И вижу: педагог она думающий, ищущий. Некоторые учителя были удивлены, что Ксения Евгеньевна в классе, на стенах, повесила образцы грамотности: мол, это явная подсказка ученикам. Но если такая «подсказка» поможет учащимся стать грамотными, я на все сто процентов за нее.

— А как посмотрит на это отдел народного образования?— спросила Галина Геннадьевна, уязвленная критикой директора в свой адрес.

— Как бы не посмотрел, но за разумное мы будем бороться,— спокойно ответила директор и в свою очередь спросила:— Галина Геннадьевна, а вы как думаете: на кого мы должны работать? На комиссию или на ученика?

Учительница, неопределенно пожав плечами, отмолчалась.

Новый учебный год принес новые хлопоты и заботы. Елену Даниловну, возвратившуюся домой поздно вечером, поджидала ее давнишняя приятельница Марина.

— Долгонько ты работаешь,— сказала она, загадочно улыбаясь.

— Надо,— ответила Елена,— а ты что, помогать мне пришла? Тогда садись к столу, проверь за меня стоночку-другую тетрадей...

— Не за этим я пришла, Елена...

— А за чем же? Говори, а то твоя улыбка меня заинтриговала.

— Хочешь познакомиться с одним хорошим человеком?

— Откуда тебе известно, что он хороший? Хорошие-то семьями живут...

— Брат он мой, двоюродный... Вдовец, не пьющий... Ну, чего молчишь? Не опостылело безмужней мыкаться?

— Опостылело, ох, опостылело, Марина!

— К тебе, домой ему, конечно, не к чему идти, а тебе к нам неудобно... Я, понимаю, понимаю... Сделаем так: завтра, под вечер, он зайдет в школу. Мало ли к тебе по делу приходит народу... Так что никому в глаза это не бросится. Познакомьтесь, поговорите, а дальше уж сами решайте... Между прочим, ты ему понравилась.

— Но где он меня видел?— изумилась Елена.

— В магазине.

Данииловна весело засмеялась.

— Ну, так как: приходит ему или нет?

— Ладно, пусть приходит.

На другой день в школе прорвало отопительную трубу. Рабочие, выпрошенные Еленой Данииловной у директора совхоза, только к вечеру устранили неполадки.

Данииловна, уставшая, но успокоенная, направилась в свой кабинет. Осанистый мужчина, стоявший у окна кабинета, поздоровался с Еленой, сделал попытку заговорить с ней.

— Минуточку, подождите,— попросила она,— мне надо срочно позвонить в районо.

«Чей это родитель?»— недоумевала она, набирая пужный номер телефона.

Только сообщила Бульбаровой, что отопительная система приведена в порядок, как в кабинет вошла, ведя за руку ученика, Галина Геннадьевна.

— Вот полюбуйтеесь на него, Елена Данииловна: гоняет на спортплощадке футбол, а уроки еще не выучил. Я не знаю просто, что с ним делать?!— Не дожидаясь ответа директора, учительница обратилась к ученику:— Ты хоть о себе, Дмитриев, подумал бы... Ведь для себя учишься, не для кого-нибудь.

Мальчик, глядя в пол, молчал. Елена Данииловна решила его отпустить:

— Олег, иди сегодня домой, а завтра поговорим.

Преподаватель неодобрительно вскинула глаза на директора. И, едва мальчик вышел за порог, возмутилась:

— Почему вы меня, Елена Данииловна, никогда и ни в чем не поддерживаете?

— Ну, вы сами подумайте, Галина Геннадьевна, разве это истина, что человек учится для себя? Да от одной этой мысли можно зачахнуть... Бескрылость какая-то: жить для себя, учиться для себя, любить себя... Мне бы от жизни для себя давно тошнехонько стало...

Да вы, Галина Геннадьевна, не обижайтесь на меня; я вас совсем не осуждаю: ведь мне, как и вам, с детства внушали, что учимся мы для себя. Когда-то надо начать вдумываться в общепринятые, но давно устаревшие истины. Надо! И не только вдумываться, но и свергать их! Иначе мы закосеем.

— Нашего Дмитриева, Елена Данииловна, такие глубоко-мысленные размышления, я думаю, не затронут...

— А все же, не находите ли вы, Галина Геннадьевна, что этим «для себя» мы, взрослые, закладываем основы эгоизма в души наших детей?

В кабинет директора вошла пионервожатая и, умоляюще сложив руки, попросила:

— Елена Данииловна, пожалуйста, посмотрите номер художественной самодеятельности, а то ребята устали...

Выходя в коридор, директор сказала ожидавшему ее мужчине:

— Извините, пожалуйста, через десять минут я вас выслушаю...

Когда Елена Данииловна, спустя четверть часа вернулась, в кабинете ее уже никто не ждал.

Внезапно Данииловну обожгла мысль: «Да, ведь это был не чей-то родитель, а Маринин брат! Он знакомиться приходил, а я... Ну и ну: про свидание забыла!»

На другой день Марина возмутилась:

— Вот и знакомь тебя: человек ждал, ждал, а ты делами занялась... Ненормальная! Не могла, что ли, их бросить хоть в этот вечер...

— Марина, я забыла, совсем забыла. Понимаешь, замоталась с хозяйственными делами...

— Забыла! Про такое забыла?! Ты со своей работой одна останешься куковать.

— Передай брату, что я приношу ему свои извинения.

— Поздно, он уехал. И знаешь, что сказал?

— Что?

— Найду менее деловую.

Прошло несколько лет...

Апрельская звень плыла над селом. Ветры с Саян несли шальные запахи весны. Дочь Елены пришла из школы со своей подружкой, Ирой Родниной. Усадила их Данииловна обедать. Вскоре в дом вошла старшая сестра Иры и позвала ее:

— Пойдем скорее, папа зовет! Сейчас к маме в больницу поедем.

— Ваша мама в больнице?— удивилась Данииловна.

— В самой страшной,— ответила Ира.

Сестра поправила ее:

— Надо говорить не «страшной», а страшной.

— Ну, страшной, страшной,— согласилась Ира.

«В онкологии, видно»,— сочувственно подумала Елена.

Роднина, действительно, лежала в республиканском онкодиспансере. Три года назад ей сделали операцию. При выписке хирург сказал: «Для вас, Анна Петровна, диета и строгий режим питания обязательны».

Попервости Анна придерживалась порядка, а как почувствовала себя хорошо, так и перестала следить за питанием. Теперь ей сделали вторую операцию. Роднина лежала в палате одна. Это казалось ей дурным предзнаменованием. Кровать Анны стояла у стены. По ночам больной слышался лязг и грохот железа. И утром она, всякий раз, просила нянечку узнать, кто гремит все ночи напролет за стеной. А за стеной были сад и тишина, даже днем тишина...

Старая няня недоумевала: «Почему это таким больным чудится лязг и грохот? Странно! Ведь Роднина не первая говорит об этом». Хирург, делая обход, садился с краю на кровать Родниной и спрашивал:

— Ну, как дела, Анна Петровна?

— Ни туда, ни сюда,— отвечала больная.

Врач, избегая глядеть ей в глаза, говорил слова ободрения и прописывал обезболивающие уколы. Видел хирург, что только «туда», но был бессилен что-либо изменить.

Последняя ночь Анны была особенно мучительной...

Прошли девятины, прошли сорочкины. Овдовевшему Роднину принялись советовать досужие люди:

— Максимыч, да отдай ты девчонок в детский дом... И им, и тебе лучше будет. Отдай, чего ты? Там им образование дадут. Опять же сыты-обуты завсегда будут.

— Как ли не так!— возмущался Роднин.— Без матери остались, а теперь и без отца оставить их! Нет, никуда не отдам. Со мной будут!

Ульяна Никитична, мать Родица, узнав об этих советах, сказала в сердцах:

— Советчики отыскались какие! А самих коснись такая беда, что бы они делали? Володимер, хоть я и стара, но пока жива, эдакого злодеяния не доущу! И тебе не позволю.

— Да разве ж я на такое пойду?!— согласился с матерью Родица.

После смерти невестки Ульяна Никитична день и ночь проводила в доме сына, но все равно не успевала переделать всю работу. Старшая внучка старалась помогать, по...

Пришла осень. В Саянах забелел снег. Зима подступала и к Кызыл-Тайгиской долине. Ушел служить в армию Никита, старший сын Родица.

Бабушка, отыскав директора в школе, попросила:

— Данииловна, отпусти внучку Олю с уроков. В ресбольницу ее свозить надо, уши болят у нее.

— Поезжайте, поезжайте,— разрешила директор.

Ира, подбежав к взрослым, заканючила:

— И я хочу с вами! Бабушка, возьми меня с собой, ну, бабушка...

— Нельзя, тебе в школу ходить надо,— сказала Ульяна Никитична.

— Оле так можно... Не буду я дома одна сидеть, не буду-у...

— А ты к Елене Данииловне в гости попросись,— шутливо предложила бабушка.

— Ира, правда, пойдём к нам. Вам с Танюшкой весело будет,— позвала Данииловна.

— Баба, можно я пойду к Тане?

— Иди уж, раз приглашают.

Когда вернулась Ульяна Никитична из Кызыла, сестры Родицины отпросили у Елены Данииловны Таню погостить к ним.

И пошло с тех пор: то у Данииловны почуют внучки Родицихи, то Танюшка остается с почевой у Родициных. По субботам натопит жарко баню бабушка Ульяна, перемоеет и внучек, и гостей.

Как-то упала Ира во дворе школы и зашибла коленку, горько и безутешно разревелась. И не столько от боли, сколько от обиды, что некому ее пожалеть, что нет у нее мамы, которая, бывало, только обнимет, как тут же все боли сами собой проходили.

Елена Данииловна остро почувствовала боль детской души.

Посадив девочку к себе на колени, Данииловна ласково обняла ее:

— Ушиблась, маленькая, дай-ка я подую па твое больное коленочко.

Ира, прижавшись к Елене, всхлипывая, проговорила:

— Как мне было больно, мама!

Стоявшая рядом Оля сказала удивленно:

— Ты чего, Ира, это же Танина мама, а не паша...

Танюша, обнимая мать, великодушно разрешила:

— Пускай моя мама и Ириной будет, а то ей очень плохо без мамы жить. Ну, хоть один разок, всего один разок... Ладно, мама?

Прошел месяц-другой. В один из вечеров отправился Родион за дочками к Елене Данииловне. Вошел в дом, поздоровался.

— За дочками?— спросила Елена.— Так сейчас я их позову; они в летней кухне в школу играют, а моя Татьяна у них за учительницу.

— Не только за ними... Знаешь, что, Данииловна, давай сойдемся. У тебя ребенок, у меня, правда, трое, но третий-то, сама знаешь, не маленький, в армию ушел...

Растерялась Елена: не знает, что и ответить.

А Максимович говорит и говорит...

— Погоди, Максимыч, не торопи: мне подумать надо,— ответила Данииловна.

Но не с кем совет держать: мать давно уехала в Абакан, нянчиться с ребятишками младшей сестры.

Да и разве о таком советуются? Тут советчик один — сердце...

И стала Елена Данииловна Родиной. По селу разговоры пошли. Одни восхищались: «В наше-то время на детей пошла! Да это же!.. Вот это женщина!..»

Другие решили: «Спасается Елена Данииловна от одиночества — и все...»

В один из вечеров Ульяна Никитична призналась Елене:

— Как остались мои внучки без матери, ох, и загоревала я, спасу нет, как загоревала... Бывало, печалюсь: умру, к кому приткнутся они? Володимер — мужик: один жить не будет — оженится. А если попадет какая непутящая, что тогда с девочками будет?! Печалилась я, печалилась, да и появишься у меня одна задумка. Есть, думаю, в селе одинокая, самостоятельная женщина, живет в строгости, себя блюдет. Дай-ка, я подпущу

к ней сирот, как подпускают к посадке чужих цыплят: сначала одного, потом другого... Я почему гостеваньям-почеваньям девчочьим не препятствовала? Думаю, пусть попривыкнут друг к дружке. А коль они меж собой поладят, то и Максимычу можно будет о сватовстве подумать... Елена, что я сделала, в том и признаюсь. А слова мои за обиду не прими.

Добродушно посмеялась Даниловна житейской мудрости Роднички. А та попросила ее:

— Елена, придет мое время, так ты девчонок не отринь от себя.

— Никитична, что это ты о таком заговорила?

— Своего времени, Даниловна, никто не знает. Но, коль пришлось к слову, я и сказала.

Владимир Максимович, во время болезни первой жены, приходя с работы, «впрягался» в домашние дела. Заполночь ложась спать, недоумевал: «И как это женщины изо дня в день успевают переделать такую прорву работы!»

После женитьбы с Роднина свалилось множество больших и малых дел и забот. Спокойная уверенность за дочерей и необременительность хозяйственными делами расслабили его. И он иногда стал возвращаться с работы под хмельком. Обнимал Елену за плечи и говорил:

— Даниловна, только не ругайся... Я ведь немножко, совсем немножко...

Елена недовольно отмалчивалась. Дочери живо замечали это и просили отца:

— Папа, не пей, ну, пожалуйста, не пей больше!

— Ладно,— Максимович согласно кивал головой. Но проходил вечер-другой, и все повторялось.

Оля в тайне от матери каждый вечер ходила на работу к отцу. Владимир Максимович стыдился детского надзора, но подчинялся.

Как-то раз Оля не успела вовремя прийти за отцом. И он напился... Толкнув дверь и перешагивая через порог, Роднин зашнулся и со всего маху растянулся на полу.

— Папа, ты ушибся?— подбежала к нему Ира.

Максимович пробормотал:

— Не трожь меня... Я с-п-л-ю...

— Ой, мама идет!— глянув в окошко, обеспокоенно сказала Таня.

Оля мгновенно раскинула в комнате раскладушку, а Ира, тормоша отца, плаксиво позвала:

— Папа, ползи на раскладушку! Ну, ползи скорее...

Старшая сестра даже не заметила, что Ира так смешно искажила название раскладушки.

Роднип с трудом добрался до ложа. Оля укрыла отца одеялом. Ира принялась упрашивать:

— Папа, укройся с головой одеялом! Ну, пожалуйста, укройся, а то мама сразу увидит, что ты пьяный и опять расстроится...

Максимович, сбрасывая одеяло, вяло просил:

— Не ме-шай, я спать хо-чу-у!

Елена, войдя в дом и увидев, что муж пьян, в горестном раздумье села на диван. «Ну и глупая я! Жила без заботушки, в покое, так нет: захотелось человеческого счастья... Вот и любуйся теперь на это обличье... Что делать, что делать?»

Девочки, прижавшись к матери, притихли. Иру, сидевшую на коленях у Елены, вдруг пронзила мысль:

«Вот возьмет новая мама и уйдет от нас!»— И девочка вслух спросила:

— Мама, ты ведь не уйдешь от нас, ведь не уйдешь?

И то ли от обиды, нанесенной мужем, то ли от жалости к сводным дочерям, Даниловна заплакала. Ира, ладошками вытирая материни слезы, бесхитростно предложила:

— Мама, давай бросим папу. Мы будем жить с тобой, а он пусть на нас с Олей платит алименты.

— Ох! Да что это за жизнь такая пошла! Несмышленное дитя такое говорит!— вздохнула тяжело Елена.

Ульяна Никитична, вернувшись из Красноярска, наедине повела разговор с Владимиром:

— Обскажи-ка, сын, как семья твоя бедует?

Максимович молчал, а мать продолжила:

— Оженился и преспокойно взвалил на Елену и детей, и хозяйство. Успокоился! Смотри, как бы не разладилась твоя семейная жизнь. Как девчонок один растить будешь! Отберут их у тебя и определят в детский дом... Хватит фордыбачить: живи по-людски... Силов моих нет — видеть такое...

— Мама, не шуми... Не маленький я, понимаю... С сегодняшнего дня все, ша!..

А через неделю, подвыпив, помчался Максимович на мотоцикле на ферму налаживать доильные аппараты и разбился, врезавшись в столб.

После двух операций Максимович остался без руки. Ульяна Никитична, приехав в больницу, нашла хирурга и попросила:

— Доктор, как будешь выписывать моего сына Роднина, так припугни его насчет выпивки. Прошу тебя. Ради детей его прошу...

— Мамаша, его и пугать нечего: ему спиртное категорически запрещено.

Гулкая тишина, давящий покой окружали Максимовича дома. Тягуче, медленно шло теперь время для него. Родинку казалось, что стены давят его... И он постепенно припоровился управляться во дворе, в хлеву одной рукой. Помня наказ хирурга, «прикладываться» к бутылочке Роднин побаивался.

Данилиловна радовалась наступившему семейному покою.

В один из дней старый знакомый Максимовича, захав к нему по пути, распочал за столом одну, а потом и другую бутылку «белой»... Не устоял Роднин, а вечером, когда дочери и жена пришли из школы, он метался на кровати и стонал. Правый его глаз, расширившись, остекленел, левый сузился. Фельдшер, за которой сбегала Оля, поставив укол, строго сказала:

— Максимыч, не пей, а то парализует...

Утром другого дня Елена, подсев к мужу, пластом лежавшему на постели, укоризненно выговорила:

— Володя, что же ты делаешь?! Ни себя, ни нас не жалдешь. Замучал всех. Ох, до чего я не люблю тебя пьяного!..

— Не любишь? Тогда брось, брось меня такого! Противен я тебе стал? Ненавидишь меня? Эх! Лена, Лена...

— Эх, Максимыч, Максимыч! Жизнь наша семейная от тебя одного зависит,— поправляя под головой мужа подушку, примиряюще сказала Елена.

После случившегося Роднин решил: «Хватит дурака валять, видно, хирург правду сказал...»

Сын Родниных, Никита жил в Кызыле. Он изредка писал отцу письма. В последнем письме Никита сообщал, что женился и ждет отца вместе с Еленой Данилиловной в гости. Собрались Роднины и поехали в Кызыл.

Казенная, со всеми удобствами, квартира понравилась Владимиру Максимовичу. Вот только жену для Никиты он хотел бы другую... Елена, чутко уловив настроение мужа, шепнула:

— Недоволен?

— Конечно...

— А дивчина-то красивая...

— Мало ли что красивая... Все равно...

— А мать твоих детей кто была?

— Татарка. Ну и что?!

— И тут то же: «ну и что»,— улыбнулась Елена.

Поздно вечером, когда женщины уснули, сын и отец остались на кухне одни.

— Папа, я писал тебе, что после окончания летной школы годика три похолостую. А как увидел Далиму, так и ошалел... И вот жеңилса...

Отец, глядя на сына, подумал: «И смуглостью, и разрезом глаз, и чернотой волос — весь в мать пошел». А вслух признался:

— Вообще-то и ты, и Данииловна правы...

— В чем?

— Во всем... Э-э, да что об этом говорить. Ты лучше расскажи, как работаете тебе, Никита.

— Нормально работается.

— Хорошо, что у тебя не такая опасная работа, как у летчиков.

— И у нас, техников, всякое бывает.

...Погостив у сына, Роднины собрались домой. Нелетная погода собрала в порту множество народу.

Елена медленно прохаживалась перед зданием аэропорта.

Неожиданно она столкнулась лицом к лицу с... Суториным. Разойдясь с мужем, Данииловна иногда, в минуты обид и горечи, представляла встречу с ним. Как она гордо и независимо пройдет мимо Георгия. А вот встретились, и волнующе застучало сердце.

Георгий дружески поздоровался с Еленой. Она в волнении спросила:

— Иваныч, ты?!

— Что, постарел? Не узнать? — держа ее руку в своей, сказал он.

— Годки ничьи на месте не стоят, — успокоила его Данииловна.

— Это верно, не стоят, — согласился Георгий.

— К своим приезжал?

— К матери... А ты?

— Гостили у сына мужа. Теперь вот домой улететь не можем.

Суторин знал, что Елена давно вышла замуж. Об этом писала ему сестра. Захотелось увидеть дочь, поговорить с ней, и он спросил:

— Елена, Тапюша здесь?

— Здесь.

— Познакомь с ней, — ласково коснувшись руки Данииловны, попросил он.

— Да ведь чужие вы друг другу... Чу-жи-е.

— Как сказать...

— Татьяна отцом своим считает Максимовича, мужа моего. Вон, видишь, на остановке две девушки стоят?

— Вижу...

— Угадай, которая из них твоя дочь.

— Елена, помплуй: я ее видел младешцем...

— Конечно, трудно тебе ее узнать,— согласилась Данииловна и, улыбнувшись, договорила:— А знаешь, Гоша, синевой глаз Татьяна в тебя пошла.

— Эх, Елена, Елена! С высоты теперешних лет смотрю я на наш разлад, как на самую непоправимую глупость в моей жизни. Ну скажи, чего нам не хватало? Чего?

— Рассудительности,— тихо проговорила Роднина.

— Я до сих пор жалею, что так получилось,— признался Георгий.

— И я жалела,— с грустью призналась Данииловна. Оба враз замолчали.

— Я тебя, Гоша, много лет ждала,— первой нарушила молчание Роднина.

— А в тот вечер?

— И в тот вечер,— печально ответила Елена.

— Если бы я об этом знал!— искренне пожалел Георгий. Подошел маршрутный автобус.

— Прощай, Данииловна!

— Прощай, Иваныч!

Отлетевшим звуком качнулся воздух. И все. Дверка захлопнулась, автобус тронулся с места... Почему так получается: Кого любишь — с тем прощаешься...

г. Кызыл.
1986—1988 гг.

Монгуш КЕНИН-ЛОПСАН

СВИДАНИЕ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

(Из романа «Колыбельная»)

...Уже стемнело, и над Хондерегеем зажглись первые звезды. Пахло речной свежестью, осенними травами.

Что делает сейчас Чинчижик? Готовит ужин? Собирается ко сну?

Взьерошив рукой волосы, Тенекпен двинулся вглубь села, к маленькому дому с тремя окошками...

В окнах горел свет.

Постояв рядом с бьющимся сердцем, Тенекпен поднял с земли камешек и стукнул им трижды в стекло. Так он когда-то вызывал на улицу Хоглуг-Суура свою одноклассницу...

Рама распахнулась.

И знакомый голос спросил:

— Кто это?

— Я...— тихо ответил табунщик.— Я, Тенекпен...

Ноги у него ослабли, пришлось прислониться спиной к заборчику.

Окно захлопнулось.

«Не хочет меня видеть!»— с отчаянием подумал табунщик.

Но Чинчижик вышла на крыльцо. В дверном проеме четко вырисовывалась ее стройная фигура.

— Долго же ты не приходил, Тенекпен...— тихо сказала Чинчижик.

— А разве ты меня звала?

Чинчижик не ответила. Подумав, она шепнула:

— Видел на краю села большую лиственницу?

— «Богатую»?

— Да... Ступай к ней. Я сейчас приду. Дочка сейчас заснет...

Через несколько минут Тенекпен уже стоял в тени старого дерева. Сердце его продолжало учащенно стучать в груди: Чинчижик здесь, рядом! Ведь столько лет ждал он, сам себе в том не признаваясь, этого мгновения! Но, может, и она ждала тоже?

Он стал кружить вокруг лиственницы. Похожее дерево росло когда-то возле их летней стоянки, в Оглуг-Хая. Юрты Аргап-оола и родителей Чинчижик тогда стояли рядом. Старшие по утрам уходили к овечьим загонам, к табунам, а они, ребяташки, принимались играть в песке у корней дерева. Тенекпен строил из корья крепости, а девочка лепила из глины крошечную даггуну — принцессу, чтобы поселить ее в крепостной башне...

На тропинке, освещенной лунным сиянием, появилась Чинчижик.

— Ну, здравствуй, Тенекпен,— сказала она.

— Здравствуй... Как ты живешь? Расскажи!

— Рассказать?— молодая женщина усмехнулась.— Это будет долго, пожалуй.

— Ничего, что долго. Я готов слушать тебя день и ночь...

Чинчижик опустила голову. Помолчала.

Затем протянула ему конверт.

— Что это?

— Вот, я написала тебе.

— Письмо? Когда же ты уснула?— удивился табунщик.— Ты пришла очень быстро!

— Это письмо, Тенекпен, написано давно. Только — не отправлено. Прочти, когда останешься один...

Тенекпен взял конверт.

Ни слова не сказав, Чинчижик повернулась и бросилась бежать к дому.

Он хотел догнать ее, но ноги словно вросли в землю.

Шаги Чинчижик затихли в почой тишине.

«Надо немедленно прочесть письмо!— подумал Тенекпен.— Пойти в юрту к тете? Но там — засыпят вопросами».

Ему вдруг вспомнилось, что в центре села горит на столбе лампочка.

Он бросился вперед. Во дворах залаяли собаки, где-то стукнула калитка, но Тенекпен ни на что не обращал внимания. Письмо, письмо Чинчижик! Оно огнем жгло его ладонь.

Лампочка горела. В ее слабом, колеблющемся свете строки сливались, но по какому-то инстинкту Тенекпен видел их ясно, словно солнечным днем. Вот что писала Чинчижик:

«Мой Тенекпен!

Наверное, ты уже жепат, у тебя дети...

У меня тоже есть дочь.

Твоя дочь, Тенекпен...

Не знаю, помнишь ли ты наши встречи на чайлаге, в горной ложбине, где росла дикая смородина? Я-то помню их хорошо...

Ты можешь меня спросить, почему я до сих пор тебе ни о чем не сказала. Что я отвечу? Тогда была слишком молода, наивна. Ты вскоре откочевал с отцом, а я со своими осталась на Оглуг-Хая... Когда поняла, что жду ребенка, долго вообще не решалась об этом никому сказать. А тебе — тем более. И к тому же, ты был уже далеко, я даже не знала, где вы в ту осень кочуете.

Мои родители меня не осудили. Ни в чем не упрекнули. Родилась девочка. Мама стала ее растить, а я в каком-то смятении уехала в город. Возомнила, что смогу стать артисткой, нужно только учиться. Маму упросила никому не говорить, что у меня родилась дочь, сказать — это, мол, ребенок одной дальней родственницы.

Прости меня, Тенекпен, прости! Знаю, что моей глу-

ности нет никакого оправдания. Ведь ты же меня любил, я знала. Бояться мне было нечего, но тогда, в юности, казалось, что семейная жизнь, замужество закроют мне дорогу к учебе, к театру, о котором я мечтала.

Ну что ж, мечта моя осуществилась. Я закончила театральное училище. Сыграла в театре свои первые роли. Говорят, получалось неплохо. А потом... Потом я встретила человека. Он тоже был актером. Все у нас вышло как-то само собой... Вскоре мы поженились. И не скрою — в первое время я была довольна. Забыла и о тебе и даже о своей маленькой дочке. Но жизнь не прощает такой забывчивости...

Муж оказался тяжелым человеком. Пил. Унижал меня, оскорблял. Я пыталась повлиять на него, боролась за то, чтобы он стал другим... Ничего не вышло. Вскоре мы возненавидели друг друга, в городе о нас сплетничали... Особенно страдала дочь от этого.

Наконец, один человек дал знать, что здесь, в Хондергее, в школе есть место преподавателя пения. Я взяла с собой дочку и прибыла сюда. Сперва было трудно. Но теперь живем ничего... Стараюсь вспоминать только хорошее. Особенно — нашу с тобой чудесную юность, нашу первую любовь...

Прости меня, Тенекпен, если сможешь!

Ч и н ч и ж и к».

Тенекпен прочел письмо раз, другой, третий.

В глазах у него помутилось. Неужто он — отец? Неужто у него есть дочь?!

И неужели Чинчирик не забыла его за эти годы?!

Бережно прижав к груди белый листок бумаги, Тенекпен смеялся и плакал, стоя глухой ночью у столба с тусклой электрической лампочкой, вокруг которой тучей вилась мошкара.

Плакал — от счастья. «Сама судьба привела меня в Хондергей! — думал он. — Сама судьба!»

Ему захотелось, чтобы как можно скорее наступило утро. Он пойдет в магазин, купит игрушек для дочки — и сразу же к Чинчирик!

«Сяду здесь, в центре, на скамейку, и буду ждать, пока магазин не откроется», — решил он.

Потом ему пришло в голову, что такое странное его поведение вызовет у местных жителей недоумение. А тут еще он у всех на глазах явится к Чинчирик... Нет, не стоит забывать, что Хондергей — деревня, здесь все на виду. Чинчирик и в го-

роде натерпелась от сплетен. Нельзя подвергать ее новой опасности, надо беречь ее доброе имя.

Тенекпен вернулся к старой лиственнице и погладил рукой шершавую кору. И в самом деле — «Богатое дерево»! Он не вешал на его ветки цветных тряпочек, но добрые духи оказались к нему милостивы!

Чинчижик, Чинчижик!..

Интересно, а как она назвала дочь? В письме об этом не сказано.

В голове роились и другие вопросы — ведь все, решительно все, что касается Чинчижик, ему безразлично! Когда она приехала в Хондергей? Кто дал ей знать, что в школе есть подходящая работа? Помог перебраться из города?

Тенекпен почувствовал укол ревности, но сам себя одернул. Кольнуло и острое чувство собственной вины. Как мог он выпустить из своих рук судьбу любимой? Почему не помчался вслед за ней в Кызыл, когда она уехала? Почему бездействовал все эти годы?... И вообще многое в его жизни получается как-то несуразно. В школе мечтал стать ученым. Мечта начала осуществляться. Окончив с отличием десятилетку, он успешно поступил в университет, на биофак. Да не где-нибудь, а в Москве! Все шло у него хорошо — оставляли в аспирантуре, предлагали тему для будущей диссертации, но он внезапно от всего этого взял и отказался. Решил вернуться в Хоглуг-Суур. Вернулся... и пошел в табунщики. Теперь он — простой коневод, обыкновенный пастух, и не всем известно, что у него в кармане диплом о высшем образовании. Глупо? Может быть.

Но что-то Тенекпену подсказывало: он поступил правильно! Опыт, которого набрался, работая поначалу вместе с отцом, — бесценен и пригодится со временем для научной работы, которую Тенекпен оставлять не собирается. В походном даале-не у него всегда с собой книги и блокноты, уже распухшие от записей и расчетов.

Поговорить бы обо всем этом с Чинчижик! Каким коротким было их сегодняшнее свидание под лиственницей! Надо было схватить ее за руку, не отпускать. И пусть бы она выслушала все, что накопилось у него на душе, а он бы тоже слушал ее, слушал и слушал...

В ночной тишине звонко стрекотали кузнечики. Под ногами в траве прощуршала полевая мышь.

Тенекпена, словно магнитом, тянуло к домику Чинчижик, но он, сделав над собой усилие, повернул к юрте Дуруяа. Мать и тетя, наверное, уже о нем беспокоятся. Надо заглянуть к ним,

а потом можно снова сбежать к «богатой» лиственнице. А вдруг Чинчижик решит вернуться?

— Дочь! У меня — дочь! — повторял вполголоса Тенекпен, и хотя тропы под ногами не видел, шаг его был уверен и упруг. Как и отец, Тенекпен отлично ориентировался в темноте. Не было еще случая, чтобы он споткнулся на пастбище или конь его ударился о скалу.

— Табунщик должен ночью видеть, как сова! — говаривал отец. — Пусть это в привычку войдет! Слышал поговорку? «Привычка к тебе веревкой привязана: и захочешь, да не расстанешься!».

Тенекпен неслышно подошел к дверям юрты. Сквозь слегка приподнятый полог было видно, что здесь еще не спят. На сундуке стояла зажженная керосиновая лампа. Сестры беседовали.

Тенекпен сел на чурбак для колки дров и закурил. Спать ему не хотелось, да он, наверное, сегодня заснуть бы и не смог. Голоса матери и Дуруя отчетливо доносились из-за тонкой войлочной стенки: речь шла о нем. Но Тенекпен был настолько поглощен сегодняшними переживаниями, что ему поначалу казалось — в юрте просто включено радио и передают какую-то пьесу...

Дуруя а. Славный у тебя сын, сестра!

Се виль. Правда, на Арган-оола похож?

Дуруя а. Очень.

Се виль. А этот учитель Дембилдей, что к тебе заходит... Я теперь вспоминаю: он и вправду у нас в Овьуре работал. Дети его любили.

Дуруя а. Плохого человека дети не любят.

Се виль. Вот бы с этим Дембилдеем о Тенекпене-то поговорить. Может посоветует что? Сердце у меня об нем изболелось! Ведь у всех, у всех его друзей семьи, а он один да один.

Дуруя а. Может, учиться дальше надумал?

Се виль. Да куда уж дальше? И так у него ученья — полный барба!* Он же в Моспаа** институт заканчивал.

Дуруя а. Уваа! А я и не знала!..

Се виль. Да, в Моспаа!..

Тенекпен усмехнулся: годы идут, а мать все так и не выучится правильно произносить слово «Москва».

* Барба — мешок (тув.).

** Моспаа — тувинское произношение слова «Москва».

Дуруяа. Не может быть, чтобы у Тенекпена девушки не было. Такой орел!

Севи́ль (*сердито*). Орел-то орел, а держит себя, как овца. Сколько пестов для него присматривала, ни на одну даже взглянуть не хочет! Разве это дело? Парню ведь за тридцать.

Дуруяа. Не переживай, дунмам. И птица пару находит. Женится он. Вот увидишь!

Севи́ль. А если не увижу? Не дождусь внуков? Сейчас хоть я у него, все-таки есть кому дома похлебку сварить. Но если меня не станет? Я тоже стара, хоть и младше тебя. Как он бобылем проживет? Это молодому в холостяках весело ходить, а потом что?

Дуруяа. Он наши свадебные обычаи знает?

Севи́ль. Знает, да что толку?

Тенекпен покашлял в кулак. Надо предупредить старух о своем появлении.

Дуруяа и Севи́ль примолкли.

Он заглянул в юрту:

— Не спите?

— Тебя поджидаем,— ответила мать.— Где пропадаешь?

— Зачем ненужные вопросы задаешь?— бросив значительный взгляд на младшую сестру, сказала «Хувискаалчы-кадай».— У молодого человека могут быть свои дела.

— И все-таки, где ты был, Тенекпен?

— Так... По селу прошелся. К учителю Дембилдею заглядывал,— соврал табунщик.

— Попей теплого молока, сынок,— ласково предложила Дуруяа.— Вон, на ожуке* стоит. Еще не остыло.

Тенекпен потянулся к ожуку. Старинный предмет! Ручная ковка. Но одна из чугунных ножек вот-вот сломается. «Надо будет починить,— подумал Тенекпен.— Таких вещей теперь нигде уже не делают. Только в музее увидишь...»

Через верхнее отверстие в юрту проникал лунный свет, и поверхность молока в законченном котелке отсвечивала жемчужным блеском.

Севи́ль подала сыну деревянную пиалу.

Тенекпен глотнул теплого, густого молока.

Напиток богов! Что может быть на свете вкуснее?

Или это только сегодня самое обыкновенное молоко кажется ему необыкновенным?!

Севи́ль распахнула настежь двери юрты.

* *Ожук* — очаг в виде треножника.

Пронизанный серебристым светом почной воздух напоминал молоко.

— На небе — три звездочки, — сообщила вдова табушника. И задумчиво добавила: — И нас здесь тоже только трое...

— Ойт, ойт, — забеспокоилась Дуруяа. — Три — несчастливое число. Лучше бы звезд было четыре. И нас пусть станет четверо.

Севиля со вздохом покосилась на младшего сына. Что у него на уме? Где пропал до ночи?

— Оседланного коня на месте не удержишь... — приговаривала, устраиваясь на ночлег, Дуруяа. — Речка разволнуется — не успокоишь... Ойт, ойт!... На Шыктыг-Чайлаге к нам раз журавли прилетели. Сначала четыре. Потом одного кто-то подстрелил. Трое осталось... Осенью два в теплые края улетели. А один, бедный, все метался по небу, стонал... До чего жаль его было!.. А три звезды — это «Уш-Мыйгак»...

— «Уш-Мыйгак»? — переспросил Тенекпен.

— Созвездие так называется, — ответила за сестру Севиля. — «Три маралухи», значит.

— Три маралухи, три маралухи... — опять забормотала Дуруяа. — Где же четвертая?.. Хочешь, Севиля, я буду главной гостьей на свадьбе Тенекпена?

— Я-то хочу... — протянула Севиля. — Да вот он...

В восемь утра Тенекпен уже стоял у порога сельского магазина. Сонная продавщица, хмуро кивнув головой первому покупателю, отперла двери.

Тенекпен вошел внутрь и огляделся.

Как и в любом сельпо, продовольственные и промышленные товары продавали здесь вперемешку.

Начали приходить люди. И через несколько минут за хлебом уже выстроилась похожая на журавлиный клин очередь: хондергейцы двигались к продавщице с двух противоположных сторон, вероятно, потому, что хотели перекинуться словом и с нею, и друг с другом.

Нельзя было сказать, что прилавки блистали разнообразием. Пачки с лапшой, макаронами, соль, рис. Маргарин, плавленый сыр. Два-три сорта конфет в тусклых обертках. Небогато! В Хоглуг-Сууре выбор продуктов куда больше. Болаг Бопунович держит сельскую торговлю под своим неослабным вниманием. А сюда что везут из района, тем и довольны.

Тенекпен дождался, когда очередь рассеялась, и лишь тогда перегнулся через прилавок:

— У вас нарядной куклы не найдется?

Продавщица достала две запыленные коробки:

— Смотрите.

Тенекпен приоткрыл крышки: на него в упор глянули голубые стеклянные глаза двух пластмассовых блондинок.

Поскольку выбора не было, Тенекпен отложил в сторону одну из них:

— Вот эту!

В общем игрушка была не так уж плоха: и щеки у нее розами пвели, и яркий бант на макушке торчал. Девочке должна понравиться! Еще Тенекпену хотелось найти книжку с цветными картинками.

— А детскими книгами торгуете?— спросил он у продавщицы.

Девушка скосила на него любопытный взгляд и сняла с полка всю имевшуюся литературу. В основном это были брошюры по животноводству да несколько школьных учебников. Впрочем, одна детская книжечка все же нашлась.

Тенекпен выложил из кошелька деньги и, схватив свои покупки, выскочил из магазина. Рубашка на спине у него взмокла. Ему уже казалось: все знают, что он выбирает подарки для дочери Чинчирик! А ведь он поклялся беречь Чинчирик от всяческих пересудов.

Сделав вид, что направляется в сторону Большого Хондергея, Тенекпен свернул в переулок, задами дошел до теткойной юрты и, спрятавшись за караганником, стащил с себя голубую трикотажную майку. В нее, еще не просохшую от пота, он и завернул книжку и куклу. Затем сунул сверток в кусты.

Сейчас он для вида покрутится дома, попьет чаю, сваренного Севиль, а потом незаметно исчезнет и пойдет прямо к Чинчирик.

План Тенекпену вполне удался.

Севиль, кажется, ничего необычного не заметила, убрала в шкафчик пиалы и захлопотала возле сестры: после бессонной ночи у Дуруяя появилась слабость.

Тенекпен забрал из караганника сверток, запихнул под полу пиджака и быстро двинулся к знакомому дому с тремя окошками.

...У ворот лежали сваленные в кучу свежие поленья.

«Разобрать и сложить»,— машинально подумал Тенекпен. А глаза его в это время уже впились в полуоткрытую дверь, из-

за которой слышалось бряканье посуды. Чинчижик? Но она, вероятно, еще на работе, придет позже... Дочка?!

Снова, как и вчера, в груди забухало сердце.

Табунщик рванул на себя входную дверь.

В тесной кухоньке чернокосяя девочка лет восьми усердно мыла тарелки и ложки. Без всякого испуга она повернулась к вошедшему и спросила звонким, как у жаворонка, голоском:

— Ты кто?

— Я?— растерялся Тенекпен.— Я... Ты испугалась?..

— Ничего я не испугалась. Как тебя зовут?

— Те... Тенекпен...

— Тенекпен?— удивилась девочка.— Мама говорила, так зовут моего папу.

— А... А где твой... папа?

— Он сейчас далеко. На монгольской границе. По делам разъезжает.

— Вон как!..— Тенекпен неловко топтался на пороге.— Значит, мама тебе об отце рассказывает?

— Да,— кивнула девочка.— А зачем пришел?

— Я принес тебе куклу.

— Хм,— в глазах девочки сверкнули огоньки.— Где же она?

— Держи!— Тенекпен протянул дочери свои подарки.

Девочка мигом извлекла из коробки розовощекую куклу.

— Какая она маленькая!

— Там еще книжка есть...

— Книжка — тоже красивая,— сказала девочка.— Только я еще плохо умею читать.

— Мы прочтем ее вместе,— улыбнулся Тенекпен и сел посередине кухни на табуретку.

Девочка внезапно нахмурилась и отложила в сторону подарки.

— Уходи! Ты — чужой. Мама не велит мне с чужими разговаривать.

— Я не чужой.

— А какой?

«Сейчас скажу: перед тобой твой отец, дочка!— подумал Тенекпен и почувствовал, что лицо заливают краска.— Сейчас непременно скажу!».

Но слова замерли у него во рту. Ребенок не готов к такому известию. Знает лишь, что папа далеко, у монгольской границы. Внезапное появление никогда не виденного ею отца может

вызвать нервный шок. Да и он, Тенекпен, сейчас сам не свой: чуть не теряет сознание от волнения...

Дверь тоненько скрипнула, и в дом вошла Чинчижик.

— Байлак!— сказала она.— Ты уже вытерла посуду?

— Нет, мамочка... К нам, вот, дядя пришел...

— Здравствуй... дядя,— еле слышно вымолвила побледневшими губами Чинчижик.

«Значит, дочку зовут Байлак!»— отметил, вставая с табуретки, Тенекпен.— Байлак... Байлак... Чудесное имя!»

— Я...— начал он,— я хотел повидать вас... обеих. Тебя и... Байлак.

— Проходи в комнату. Сейчас я приготовлю чай.

Голос у Чинчижик срывался.

В кухоньке снова забренчала посуда. Байлак деятельно помогала матери, о чем-то непрерывно щебеча.

А Тенекпен, стоя в комнате, оглядывался вокруг. Обстановка была скромной: полка с книгами, ноты, две узкие кровати вдоль стен — одна побольше, другая поменьше. На подоконнике — горшок с цветком столетника. Белые занавески. Ничего лишнего, опрятно и чисто.

Чинчижик принесла поднос с чашками, сахаром, печеньем. Байлак крикнула из кухни:

— Мама, чайник кипит!

— Я сейчас!— Чинчижик выбежала из комнаты, и Тенекпен залюбовался ее порывистой, почти девической подвижностью. Да, Чинчижик почти не изменилась. Разве что стала еще красивее. А он, Тенекпен? Раздался, огрубел, гоняясь по горным тропам за своим табуном. Голос у него хриплый, на висках первая седина... Учительница пения — и табунщик. Не слишком-то подходящая пара! Что толку, что у него есть диплом: все равно — как был пастухом, так пастухом и остался...

Чинчижик прервала его размышления, присев рядом.

— Ну что, Тенекпен... Поговорим?

— Поговорим.

— Мама! А про варенье ты забыла?— Байлак влетела в комнату с банкой в руках.

— Мы недавно ходили в лес,— улыбнулась Чинчижик.— Набрали черной смородины. Красной не нашли... А помнишь, сколько было ее в устье Буланнга?

— Помню... Я все помню, Чинчижик. Ничего не забыл.

— Байлак, тебя подружки играть звали,— сказала Чинчижик.

— Бегу, мама!

Байлак скрылась за дверью.

В комнате воцарилось молчание.

Чинчирик и Тенекпен глядели друг на друга, и каждый не решался первым начать нелегкий разговор.

— Как... Как жалко, что я не пошел с вами по ягоды,— наконец выдал из себя табунщик.

— О-о,— оживилась Чинчирик.— Хочешь, дам тебе трехлитровую банку варенья. Мать угостишь. Как она себя чувствует?

— Спасибо, неплохо. Сейчас сюда ее привез, к Ондар Дуруя. Слышала про нее? Это моя тетя.

— Слышала, Тенекпен. Дуруя все знают. А как ее самочувствие? Мне даже трудно представить себе, как человек может дожить до такого возраста...

— Дуруя — на ногах и в здравом уме. Ну, конечно, одной ей нелегко приходится. Мы как-то не думали про это... Знаешь, как в жизни бывает? Дел — по горло. Дни так и летят. Ну, а потом нам один человек написал. Башки Дембилдей.

— Деспижек Делбигирович? Ну, конечно, узнаю его! Он столько и для нас сделал!

— А именно?

— Это же он написал мне, что в Хондергее есть место учительницы пения. В самую трудную минуту я получила поддержку!— Чинчирик отвернулась к окну, чтобы скрыть увлажнившиеся глаза.

«Может, башки Дембилдей — наш добрый дух?— подумал Тенекпен.— Соединитель судеб?»

Он счастливо рассмеялся.

— Чему ты смеешься?— спросила Чинчирик.

— Так, ничему.

Молодая женщина вздохнула.

— Скажи, ты дурно обо мне думаешь, Тенекпен?

— О, нет!— горячо произнес табунщик.— Клянусь — нет! Наоборот, я плохо думаю о себе! Не могу простить себе, что не поехал сразу же за тобой в Кызыл. Дурь, мальчишество! Самолюбие вдруг выиграло — решил, что я тебе разонравился, а раз так, значит, не нужно тебе надоедать... Потом я не раз приезжал в город. И... Хочешь правду? Я знал твой адрес. Кружил вечерами возле дома, где ты жила.

— Почему не зашел?

— Ты ведь была не одна...

— Да... Верно...

Чинчирик опустила плечи и погрузилась в свои мысли.

Тенекпен сидел, не шелохнувшись.

В кухне зазвучала музыка: наверное, Байлак, забежав на минутку домой, включила радио.

«Как ты красив, мой Хондергей!»... — мел высокий женский голос известную мелодию на слова Монгуша Дугержапа.

— Знаешь, кто это поет? — усмехнулась Чинчижик. — Я.

— Ты?! — изумился Тенекпен.

— Да, в позапрошлом году записали на пластинку, и вот — прокручивают. Смешно?

— Что здесь смешного? У тебя красивый голос. Талант!

— Ну, скажешь тоже — талант! Способности, правда, кое-какие были.

— Почему — были?

— А потому что сейчас во мне все умерло, сгорело...

— Не говори так!

Чинчижик закрыла лицо ладонями.

— Ты... Ты не все знаешь, Тенекпен! Я не все тебе рассказала...

— Расскажи сейчас!

— Да, да... Только... Принеси воды. Мне нужно немного успокоиться.

Тенекпен принес из кухни чашку с холодной водой.

— Спасибо.

По ступенькам крыльца застучали шаги.

— Это Байлак возвращается, — шепнула Чинчижик. — После потолкаем, не уходи.

— А я и не собираюсь уходить, — ответил Тенекпен. — У крыльца дрова видел. Перенесу их в сарай. Разрешаешь?

— Разрешаю, — слабо улынувшись, сказала Чинчижик. — Только...

— Что?..

— Если кто увидит — разговоры пойдут.

— Ну и пусть пойдут! Еще утром я и сам этого боялся, а сейчас не боюсь! И ты не бойся. Слышишь?!

— Ладно.

Байлак заглянула в комнату и объявила:

— А я хочу рисовать!

— Садись, садись, дочка, за стол, — сказал Тенекпен. — Рисуй. Я тебе мешать не стану.

— Ты вернешься, дядя?

— Обязательно!

Тенекпен занялся дровами. Чинчижик стала готовить на плитке еду. Байлак, высунув кончик языка, усердно выводила

цветными карандашами кривоватые линии в альбоме для рисования.

Мирная, будничная картина...

Но ведь именно так выглядит человеческое счастье!

«Да,— думал Тенекпен,— так! И другого счастья мне в жизни не надо!»

...Вечерело. В село возвращались овцы, поднимая над дорогой облако пыли. Мимо домика пророкотал мотоцикл, вдалеке перекликались женские голоса — должно быть, соседки обсуждали дневные новости. Может, среди них есть и такая: «А к новой-то учительнице пеняя гость заявился! Не из хондзейских. Тут его раньше не видели...»

Следовало, вероятно, сбежать к Дуруя, предупредить, что он задерживается, но Тенекпен решил: «Никуда не побегу. Не мальчик. А матери потом все скажу. Она меня поймет».

Чинчирик позвала к ужину. Она накрутилапельменей, сварила вкусный бульон. Стол, на котором Байлак только что рисовала, был накрыт скатеркой, рядом с тарелками сияли мельничные ложки и вилки.

Поели с большим аппетитом.

— Понравиласьпельмени?—спросила Чинчирик.

— Очень! Сочные, вкусные. Спасибо!

— Я рада...

У Байлак начали слипаться ресницы.

— Уложи ее,— посоветовал Тенекпен.— Я выйду на улицу, покурю.

...Когда он вернулся в комнату, девочка уже крепко спала, обнимая подаренную им куклу. В углу горела настольная лампочка.

Тенекпен крепко обнял Чинчирик.

И она, не противясь, обессиленно прикинула к его плечу.

...О многом в ту ночь было переговорено. Год за годом перебирали они — каждый — свою жизнь. Чинчирик рассказала о бывшем муже. Оказывается, он не просто выпивал — страдал алкоголизмом. Чинчирик поначалу жалела его, боролась со страшным недугом человека, которому доверилась, но он ничем не желал ей помочь. Отправлялся на лечение, но, выйдя из больницы, принимался за старое. В театре, где оба они работали, поначалу ему многое прощали; но — всему есть предел. После ряда сорванных спектаклей мужа из театра уволили. Он запил еще горше. Доходило до самых безобразных сцен. В припадке белой горячки он выгонял Чинчирик из дому, бил. Уютная квартира, которую они получили, постепенно превра-

тилась в ад. Чинчижик потеряла сон, болела, все у нее валялось из рук. Она понимала: если так будет продолжаться, кончится плохо. Особенно — для маленькой Байлак. К тому же муж недолюбливал девочку: Чинчижик не скрывала, что та — не его дочь.

Нужно было разорвать ставший ненавистным брак, но сил не хватало. И в конце концов случилось страшное: в поисках чем бы опохмелиться муж схватил с подоконника бутылку с ядовитой жидкостью против мух... Случилось это в тот момент, когда ни Чинчижик, ни Байлак не было дома...

— Представляешь, сколько я пережила? — прослезилась Чинчижик.

— Да, представляю...

— Подумать только: всего этого кошмара не было бы, если бы я не уехала тогда из Хоглуг-Суура.

Что мог ответить Тенекпен? Его вина, что любимая оказалась в такой ситуации! Ведь он — мужчина и, полюбив, должен был взять на себя ответственность за судьбу Чинчижик!

Горькие минуты пережил Тенекпен, слушая сбивчивый рассказ молодой женщины. Утешало лишь одно: отныне он сделает все, чтобы Чинчижик было хорошо!

А она, прикрыв глаза, не то стонала, не то плакала:

— Такой постыдный, позорный конец! В мирное время люди умирают от старости, от болезней, от несчастных случаев... Но кончить так, как кончил мой супруг! О, я не смела поднять на других глаза! Я была, как прокаженная!.. И вдруг — спасательный круг: письмо от Дембилдея! Видно, кто-то рассказал ему про мою историю... Не знаю, как его теперь и благодарить! Мы с Байлак в один день собрались и уехали в Хондергей. Все бросили: обстановку, квартиру, я из театра уволилась. Теперь понемногу приходим в себя... Ну, вот и все... Хорошо, что я смогла тебе об этом рассказать.

Измученная Чинчижик опустила голову на подушку.

— Отдохни, — сказал Тенекпен. — Ты устала. Поспи, а я посижу рядом.

За окном уже занимался новый день. Над горами порозовело. Из полуоткрытого окна в маленькую комнату вливался свежий утренний воздух. Чинчижик и в самом деле задремала, оставив свою узкую ладонь в крупной руке Тенекпена.

«До чего нежные у нее пальцы, — думал он. — Похожи на вымытые соски телочки».

Истинный скотовод по рождению и призванию, Тенекпен имел свои критерии прекрасного. И разве они были хуже других?

Как мудро поступила Чинчижик, что не скрыла от Байлак имени ее истинного отца! Завтра — уже сегодня! он скажет девочке:

«Твой папа — это я! Просто не хотел тебе говорить этого сразу, чтобы ты ко мне немного привыкла. Ведь мы с тобой так долго не виделись! У монгольской границы у меня и вправду было много важных дел...»

Тенекпен осторожно погладил руку Чинчижик. На безымянном пальце блеснуло простенькое серебряное колечко — его давнишний подарок ко дню рождения. Сколько же лет им тогда было? Шестнадцать? Семнадцать? Впрочем, важно другое — кольцо она носит до сих пор! Значит...

Додумывать Тенекпен не стал. Наклонившись, он поцеловал Чинчижик в полураскрытые горячие губы и, чтобы унять вспыхнувший трепет, вышел на крыльцо.

Все решено — он останется здесь, в Хондергее. Надо будет сказать Севиле, Болату Бопуновичу — всем.

Из-за гор брызнули в долину первые лучи солнца.

Тенекпен простер руки, приветствуя светило, словно язычник.

Он полагал, что его никто не видит. Но это было не так.

Деспижек Делбигирович, как всегда, на рассвете отправился к реке: он привык до холодов по утрам купаться. Спустился к песчаному берегу, разделся и ступил в воду. Какое блаженство!

Когда Дембилдей докрасна растер себе спину махровым полотенцем, он, глянув в сторону Чингирлээна, вдруг заметил знакомую фигуру. Тенекпен как раз выходил из ворот дома Чинчижик — дом ее от реки хорошо просматривался.

Старый учитель тотчас скрылся за кустами пшняка: зачем смущать человека?

Никаких прямых выводов из увиденного Дембилдей делать не стал. Но, возвратясь домой, записал в дневнике:

«Двадцать третье августа. Раннее утро. Купался. Наверное, во всей Туве нет такой чистой воды, такого настоящего на травах воздуха, как здесь на Ыраажы-Хеме. А ведь я много где бывал — и на озере Азас в Тодже, и в предгорьях Монгун-Тайги, и на Дус-Холе... Всюду красиво, всюду есть удивительные места, но сердцу все же милей родимый край...»

День вроде начинается удачно. Думаю, кто-то сегодня станет счастливее, чем вчера... Я рад, что нечаянно помог встретиться двум хорошим людям. Моим бывшим ученикам...»

СВЕТЛАЯ ПАДЬ

(П о в е с т ь)

Старенький катер, патуженно пыхтя, медленно карабкается вверх по таежной реке. Я стою на палубе и с волнением смотрю на проплывающие мимо берега. Трудно оторвать взгляд от причудливых стройных сосен, величавых темно-зеленых кедров.

— Ну как, европеец, а?— кладет мне на плечо руку незаметно подошедший капитан.

Европеец... Так меня прозвала вся судовая команда, когда узнала, что я с Поволжья.

— Красиво?— вновь спрашивает капитан, блестя веселыми серыми глазами.

Я утвердительно киваю головой.

— То-то!— басит он довольным.— Вот рассмотри все, как следует, чтобы потом было что рассказать там, в Европе.— И опять оставляет меня одного.

«Рассмотри все, как следует...» Он даже и не подозревает, что я ничуть не хуже его знаю здешние места. Вот и теперь, хотя уже утекло столько лет, я отчетливо помню каждый поворот и пережат этой реки, которая когда-то шаловливой волной ласкала мое детство. Восемь лет не был я тут. Может, и нынче бы не приехал, когда бы не тревожное бабушкино письмо: «Внучек мой родимый! Сокол мой далекий! Стара я больно стала, совсем никудышная. Того и гляди, помру в одночасье. Хочется хоть краешком глаза глянуть на тебя. Приезжай в гости, внучек, уважь свою бабу...»

Я читал эти ласковые строчки и чувствовал, как горело от стыда лицо. Я рано осиротел. Вскормила и вырастила меня бабушка. А я, выходит, за все доброе плачу ей такой неблагодарностью: как уехал поступать в институт в Куйбышев, так с тех пор и не показывался в Сибири. Правда, я никогда не забывал о бабушке: часто писал ей, помогал деньгами, звал жить к себе, но она наотрез отказывалась: «Не могу, внучек. К Сибири привыкла. Без нее, матушки, мне и небо-то с овчинку покажется».

И вот взял отпуск и помчался за тысячи километров, в далекий, затерявшийся в тайге поселок.

Наконец, я у цели.

— Вон она, твоя Светлая Надь, — перекрывая рокот дилезя, кричит мне капитан и машет рукой в сторону деревянных домиков среди прибрежных сосен.

Вскоре катер пристает. У причала многолюдно: здесь и взрослые, и ребятига. Схожу с катера и сразу попадаю под обстрел любопытных глаз. Я тут человек новый, а это уже целое событие для таежного поселка. Слышу, как многие спрашивают друг у друга, кивая в мою сторону:

— Кто такой?

— Чей?

— К кому приехал?

Меня не узнают. Я же, наоборот, очень многих припоминаю. Вон со своим неизменным самодельным костылем стоит дед Евсей, бывший красный партизан, а чуть в сторонке от него — бабка Таиска, первая в округе знахарка.

Не торопясь, иду по единственной улице поселка. Хотя и не был тут давно, все равно могу безошибочно сказать, кто и где живет: здесь, например, Прокушевы, а там — Богдановы. Кажется, что поселок совершенно не изменился за время моего отсутствия. По-прежнему розовые занавески в окнах дома Огурцовых; все так же не хватает одной доски в воротах Шибановых; все тот же протяжный скрип колодезного журавля во дворе Костровых.

С замирающим сердцем подхожу к дорожному дому. Сразу же вижу бабушку. Как всегда, она озабоченно копается в огороде.

— Хозяюшка! — негромко окликаю ее.

Она с трудом разгибает спину, поворачивается на мой оклик всем телом и, приложив козырьком ладонь к глазам, долго смотрит на меня. Потом неторопливо направляется к калитке.

— Доброго здоровья тебе, мил человек. Зачем я тебе понадобилась?

Бедная бабушка! Как сильно постарела она, как здорово сдала: маленькая, высохшая, вся какая-то светлая от серебра седины. Она, видно, не узнает меня. Я ведь даже не дал ей телеграммы о своем приезде, хотел сделать сюрприз.

— Принимай, бабуня, гостя — Андрей я...

Бабушка так и застывает на месте, прижав к груди почерневшие от радости руки, потом, прижав ко мне, говорит с протяжным выдохом:

— Андрюшенька! Голубь мой! А я-то, старая, и не признала тебя.

Уже неделю живу в Светлой Пади. Бабушка от радости не знает, куда меня посадить и чем потчевать. Кажется, мой приезд ей даже сил прибавил. Это утверждает и она сама:

— Ты, внучек, ровно здоровья мне в подарок привез. Все недуги как рукой спяло.

Сегодня воскресенье. Я никуда не пошел. Просто не к кому: прежних друзей-товарищей в поселке уже не осталось, а новых не завел.

Сидим с бабушкой на мшистой завалянке, любимся погожим сентябрьским днем. Хороша Светлая Падь в начале осени! Вся залита мягким золотистым светом. А вокруг, объятые багрянцем, неподвижно замерли леса. Где-то в распадках, перекликаясь с журавлиными стаями, протяжно трубят лоси. В самом поселке гармошки заливаются. Сентябрь — пора свадеб.

Закрыв глаза, бабушка опустила голову на грудь. Кажется, она дремлет под теплом осеннего солнца, такого ласкового сейчас. Но на самом деле бабушка чутко прислушивается ко всем голосам и звукам в поселке.

— Ишь ты, как разгулялись у Сафьянниковых,— произносит она, покачиваясь из стороны в сторону.— Что ж, им можно повеселиться: хорошую сноху берут в дом. Надька-то Утюшева — на все руки мастерица. Золото, а не девка.— И неожиданно спрашивает у меня:— Сам-то гнездо думаешь вить? Али как?

Я лишь улыбаюсь в ответ.

— Да ты не светись, не светись,— грозит она пальцем,— тут, поди, дело нешуточное. Двадцать шестой тебе... Пора бы уже и к бережку прибиваться. Хватит по стремнинке-то носиться, за всеми рыбками все равно не угонишься.

— Да вот, бабуня,— отвечаю ей в тон,— все никак не встречу такую рыбку, чтобы по душе пришлась.

— И то правда,— неожиданно соглашается бабушка.— Перевелись золотые рыбки в ваших городах, одни широколобки только и остались.

— Ну, это ты зря. Перегнула малость...

— Не перечь старшим! Сама знаю, что говорю. Привелось мне тут поглазеть на чудо-юдо. Лонись Анька Самохвалова со своими товарками паведывалась к нам из Томска. Так не при-

веди господь, срам один! Без всякого стыда мужнины портки на себя напалят, а глаза каким-то синими стрелами разрисуют. Тьфу! Смотреть на них муторно.

— Мода такая.

— Мода-размода,— сердито ворчит бабушка.— А курить что — тоже мода?! Похлеще мужиков табак смолят. Никакого уважения к себе. Дурь это, а не мода.— И, помолчав, продолжает:— Нет, Андрюша, женщина всегда должна оставаться женщиной. Не портки да сигарки красят ее, а скромность, нежность. Надо быть такой, как Ольга Ефимова. Она всем девкам носы поутирает.

Бабушка опять замолкает, потом, видимо, очнувшись от своих дум, добавляет:

— Всем взяла Ольга, да только ей, бедняжке, с мужиком не повезло. Попался ярыжка ненасытный — и вся жизнь комом. Правильно сделала, что турнула его. Небось, не пропадет без такого горе-кормильца. Еще найдется хороший человек, не посмотрит, что малолетка у нее. Ноне таких, как она, трудно сыскать. Тебе бы, Андрюша, таку-то в жены.

Весь день пропадаем с бабушкой в лесу. Ушли по грибы чуть свет, а сейчас уже солнце клонится к закату. За все это время я ни разу не присел. Но нет и следа усталости. Словно замороженный, брожу по роще, старательно и с каким-то трепетным ожиданием ворошу опавшую листву. И для меня — счастье, когда из-под нее проглянет шляпка рыжика или подберезовика. В лесу стоит хрустальная тишина. Воздух бодрит, насквозь пропитан какой-то светлой радостью. Давно уже я не испытывал такого блаженства.

— А не пора ли нам к дому поворачивать?— обращается ко мне бабушка.

— Побудем еще немного,— упрашиваю ее.

— Ишь ты,— улыбается она.— Что, дружок, хорошо у нас? Это тебе не город, где один гольный камень. Тут, милой мой, сама матушка-природа. Здесь все живое.

Присаживаемся на опушке.

— А ну-ка, покажь лукошко!— требует бабушка.

Она придирчиво осматривает каждый найденный мною гриб, потом удивленно поднимает брови:

— Надо же, а! Смотри-ка, какой молодец — ни одной поганки. Значит, Андрюша, не забыл ты села. Не-ет, не забыл. Спасибо тебе!

— Да за что?— не понимаю я.

Она не успевае́т отве́тить, за бли́жними кустами раздае́тся пе́сня:

В небе зоря ве́черние све́тятся.
Я одна прохо́жу в ти́шине.
Ра́ньше сам говори́л, где нам встре́титься,
А те́перь позабы́л обо мне.

Голос пе́сильный, но при́ятный, трогае́т за ду́шу.

— Ба-а!— так вся и подае́тся впе́ред бабу́шка.— Да это же О́льга. Ей-бо́гу, она!— И ра́достно зо́вет:— О́льгу́шка, иди-ка сю́да, неву́нья!

На о́льшку вы́бегает ма́льчонка ле́т ше́сти, в ли́хо сдви́нутой на за́тылок ке́пчонке. Он с де́тским любопы́тством и непо́средственностью ра́ссматривае́т меня, по́том подбе́гает к ба́бушке, обни́мает ее. И ли́шь после́ этого протя́гивает мне ру́чонку:

-- Дава́й зна́комиться: меня́ зо́вет Са́шкой.

-- А меня́ Андре́ем. О́чень при́ятно,— с улы́бкой по́жимаю его́ ладо́шку.

А он уже́ сорва́лся с ме́ста, бе́жит к вы́шедшей из ку́стов же́нщине, на хо́ду соо́бщае́т мне:

-- А это́ моя́ ма́ма.

Она́ в кирзо́вых сапо́гах и рабо́чей куртке. На го́лове — кра́сная ко́сынка, из-под кото́рой вы́бивае́тся те́мная вы́ющае́ся прядь во́лос. Во́ всю ще́ку густо́й ру́мянец. Но бо́льше всего́ привлека́ют внима́ние ее́ глаза́ — голу́бые и по-де́тски до́верчивые.

— Здравству́йте!— произно́сит она́ гру́дным го́лосом.— Грибы́, значе́т, собира́ете? А мы́ с Са́шкой с рабо́ты возвра́щаемся. Не ста́ли жда́ть маши́ну, пе́шком отпра́вились. Бо́льшо́ уж ве́чер се́годня хоро́ший.

-- Я во́т то́же ника́к влу́ка домо́й не уве́ду,— смее́тся ба́бушка.— Все́ пого́ди да пого́ди...

Встре́чаюсь взгля́дом с О́льгой. Она́ не отво́дит гла́з, как это́ обы́чно дела́ют незна́комые же́нщины. Смотри́т спо́койно, с интере́сом. Я чувствую́ себя́ неловко́. Выруча́ет Са́шка:

— Ма́м, посмотри́, ско́ль дя́дя Андре́й грибов на́брал, аж лу́кошка не подня́ть.— И ту́т же́ предлага́ет мне:— По́йдем е́ще собира́ть!

— И то́ дело,— подде́рживае́т его́ ба́бушка.— То́лько иди́те к до́му, что́бы по́чь в ле́су не заста́ла.

Вскоре лукошко полным-полно. И тут Сашке вдруг вздумалось померяться со мной в беге.

— Да я ведь все грибы растеряю.

— Давайте я понесу,— протягивает Ольга руку.

— Видишь воп ту березу,— показывает Сашка,— кто первый добежит до нее, тот и победитель.

— Идет,— соглашаюсь я,— итак, раз два...

Еще не успеваю сказать «три», а мой соперник уже сорвался с места и мчится вперед во все лопатки, того и смотри, кепчонка слетит с головы. Догнать его для меня не составляет большого труда, но я нарочно отстаю, делаю вид, будто не могу угнаться за ним. А Сашка уже у цели. Обнял березку и рад-радешенек:

— Я победил! Я!

И снова бежим. Наконец я порядком устаю. Да и Сашка, видно, выбился из сил. Его золотистый чубик весь взмок и потемнел, словно на него вылили ковш воды.

— Небось, уморился?— спрашиваю у него.

— И нисколечко,— едва переводит он дух,— даже вот... ни капельки...

— Ну, смотри. А то бы садился мне на плечи.

Вижу, в его глазенках вспыхивают радостные огоньки. Хочется, очень хочется ему прокатиться «на коняшке», но стесняется. Я молча вскидываю его на плечи.

— Да зачем вы?— слышу Ольгин голос.— Пусть идет сам. Он у меня выносливый.

Но Сашку уже ни за что не снимешь. Он ухватился ручонками за мою голову и весело погоняет:

— Но-о!

Я бегу то прямо, то прыгаю из стороны в сторону, то резко останавливаюсь, как это делает необъезженный конь, стараясь сбросить с себя седока. Но Сашка ничуть не боится, ухватился, как клещ, и знай себе смеется. Да так звонко! Потом неожиданно замолкает. Вот уже и поселок. Идем по улице.

— Ну, всадник, приехали,— останавливаюсь я у бабушкиного дома.

В ответ — посапывание.

— Батюшки мои!— смеется Ольга, всплескивая руками.— Наездник-то наш спит. Сашка. Эй, Сашка, проснись же, наконец, бессовестный!

— Да не тревожь ты дитя,— вмешивается бабушка.— Пусть себе спит, Андрюша, донеси его до дома. Тут недалече.

— Ну, зачем?— пробует возразить Ольга.

Но я уже шагаю дальше. Мне и самому почему-то не хочется расставаться с моими новыми знакомыми.

Ольгин дом спрятался в зарослях черемушника. У крыльца — скамейка. Я опускаюсь на нее, беру на руки Сашку, который так и не просыпается, лишь смешно причмокивает губами. Ольга присаживается рядом.

— Вот тут мы живем,— говорит она.

— Место красивое. Черемуха, ручеек, тишина,— стараюсь поддержать разговор.

— Эх, вы бы весной посмотрели, что здесь делается!— оживленно восклицает Ольга.— Все вокруг белым-бело от цветущей черемухи, а воздух!..

Возле дома, куда ни кинь взгляд, клумбы. На многих еще пестрят поздние цветы.

— Вы, наверно, цветы любите?

— Еще как!— вырывается у нее.— Без них ведь и жизнь тусклее.

Сашка снова причмокивает губешками.

— Уморился, моя ласточка, — склоняется над ним Ольга, потом обращается ко мне:— Вы надолго приехали к бабушке?

— На целый месяц. Правда, уже прошло дней десять, но времени для отдыха еще достаточно.

Ольга негромко смеется:

— Считайте, что ваш отдых теперь пропал.

— Это почему же?

— Сашка вам проходу не даст. Он у меня к мужчинам очень привязчивый.

— Буду только рад этому. Вдвоем-то веселее, а то ведь здесь, кроме бабушки, не с кем даже словом переброситься.

Ольга задумчиво гладит спящего сынишку, вздыхает:

— По отцовской ласке сильно скучает мальчишка, вот и тянется к мужчинам. Вы, конечно, не заметили, а я видела, как он обрадовался, когда вы его на плечи посадили.

Я уже слышал от бабушки о семейном разладе у Ольги и все же спрашиваю:

— Извините за нескромный вопрос: а где ваш муж?

Она лишь досадливо машет рукой:

— Кто его знает. По мне так и вовсе бы его не было...— Немного помолчав, продолжает:— Вы, Андрей, не удивляйтесь моим словам.

- Вы его не любили, Ольга?
- Нет.
- Но тогда зачем вышли замуж?
- Длинная история.

Мы замолкаем. Стоит такая тишина, что даже слышно, как с шелестом опадают листья. Искося поглядываю на Ольгу. Она нервно перебирает пальцами обшлага куртки. Чувствуется, что я задал большой для нее вопрос.

— Вы уж, Ольга, простите меня...

— Да за что прощать-то? Вы-то тут при чем?— и вдруг, по всей вероятности, и сама того не заметив, переходит на доверительный тон:— Не подумай только, Андрей, что хочу слезу пустить, кого-то разжалобить, но, честное слово, не везет почему-то мне в жизни. С малых лет росла сиротой, как и ты. Да не удивляйся, пожалуйста, мне о тебе бабушка твоя часто рассказывала. Так вот, значит, воспитывалась я у каких-то наших дальних родственников. А они закоренелыми сектантами были. Чего я только у них ни натерпелась — вспомнить жутко: и били, и голодом морили. И все за то, что я учиться хотела, пионерский галстук носила. Наверно, сжили бы с белого света, когда бы не учительница Варвара Петровна. По гроб благодарна ей буду. Взяла она меня к себе. Так и жила у нее, пока школу не окончила. После школы в город поехала. Мечтала поступить в пединститут, тоже хотела учительницей стать...

Тихий ветерок пробегает по вершинам деревьев. Таинственно шепчутся листья. Где-то тревожно кричит ночная птица.

— Вступительные экзамены я сдала без единой тройки. Однако не прошла по конкурсу. В первую очередь в институт зачисляли тех, у кого был рабочий стаж. Что оставалось мне делать? Не ехать же опять в деревню? Пошла на стройку, чтобы и на жизнь зарабатывать, и заодно получше подготовиться к институту. Да только ничего из этого не вышло...

— Что же тебе помешало?— тоже перехожу на «ты».

Ольга медлит с ответом, видно, чего-то стесняется, но затем решительно машет рукой:

— Рассказывать как-то неудобно... Да уж ладно, мы с тобой ведь не маленькие. Устроилась я, значит, в бригаду штукатуров-маляров. Нравилось мне там: девчата все дружные, работающие, веселые. Весь день, бывало, работают, не разгибая спин, а вечером, как ни в чем не бывало, на танцы спешат. И меня с собой зовут. Я сначала ходила с охотой. Потом отнекиваться стала. И все — из-за Гришки. Он каменщиком на стройке работал. Прицепился ко мне, что твой репей. На тан-

цах, бывало, никому из парней не давал подойти ко мне. А я на него, веришь ли, смотреть не хотела. Бывает ведь так: человек тебе, кажется, ничего худого не причинил, а ты его все равно переносить не можешь. Так вот и с Гришкой...

Ольга горько улыбнулась.

— Терпеть не могла, а все-таки судьба по-своему распорядилась. Пригласила как-то меня одна из подруг на свой день рождения. Собралась у нее ребята и девчата с нашей стройки. Гришка тоже был... Я раньше-то в рот ни капли спиртного не брала. А тут все в один голос настаивают: выпей да выпей за здоровье именинницы. Ну и уговорили. Всю жизнь теперь каюсь, что поддалась тем уговорам... Выпила — обожгло огнем все внутри. Потом отлегло, весело вдруг стало. От второй стопки я уже не отказывалась. А что было после — не помню... В себя пришла уже утром — и глазам своим не поверила: лежу в одной постели с Гришкой в его общежитской комнате.

Ольга надолго замолкает. Чувствуется, ей и сейчас больно и стыдно вспоминать.

— Думала, не переживу такого позора. Но девчата стали утешать: мол, не топиться же теперь, дескать, выходи замуж за Гришку. Он-де в общем-то парень неплохой. Со временем привыкнете друг к другу. Я, пожалуй, все равно не сделала бы такого шага, если бы не почувствовала вскоре, что у меня будет ребенок. Так вот и сошлись у нас с Гришкой дорожки. Но на прежнем месте я уже не могла оставаться, все казалось, что люди на меня с укоризной поглядывают. Переехали сюда, в Светлую Падь, по оргнабору. Однако и здесь у нас с Гришкой не сложилась жизнь. По-прежнему не могла терпеть его. А когда родился Сашка, муж для меня стал еще постылее. Он и раньше заглядывал в рюмку, а тут начал еще больше прикладываться к ней. Терпела я. Но когда он однажды пьяный чуть было не опрокинул чугунок с кипятком на купающегося в ванне Сашку, я выставила его в сердцах за дверь и больше, как он потом ни уговаривал меня, не пустила за порог. Пожил он малость у кого-то из знакомых в поселке, а потом куда-то подался. С тех пор о нем ни слуху, ни духу...

— И ничем не помогает вам?

— Скажешь тоже... Да и не нуждаемся мы в его помощи. Нам с Сашкой и моего заработка вполне хватает.

— А кем ты работаешь?

— В нашем леспромхозе. Правда, специальность у меня никудышная: сучкоруб.

— Сашка про отца вспоминает?

— Вспоминает. Особенно в последнее время зачастил с расспросами: где да где папка? Я-то пока мальчонке не говорю правды — ничегошеньки все равно не поймет. Говорю, будто отец находится в далекой поездке... Однако,— вдруг спохватывается она,— засиделись мы! Ночь ведь уже на дворе. Сашка, небось, седьмой сон досматривает. Ну, спасибо тебе, Андрей, за компанию!— и, взяв на руки спящего сынишку, Ольга пошла к дому.

Ольга была права, заявив, что Сашка теперь не даст мне покоя. Едва я сегодня открыл глаза, а он, постреленок, уже тут как тут. Зовет на рыбалку:

— Дядя Андрей, пойдем! Честное слово, не пожалеешь. Я знаю одно место возле маминной работы, рыбы в ней — аж сине. Правда, правда!

— И в самом деле, сходил бы, Андрюша,— поддерживает бабушка.— Мальцу радость доставишь, да и сам разомнешься, проветришься. Не весь же отпуск тебе подле меня, старой, сидеть. Так ведь и закиснуть недолго.

— А как, без удочки, что ли, идти?

— У меня есть!— радостно восклицает Сашка, видя, что я соглашаюсь.

— Да и твоя цела,— говорит мне с улыбкой бабушка.— Все там же, в чулане, стоит, тебя дожидается.

Сборы недолги. И вот мы уже в пути. Сашка вышагивает впереди, уверенно ведет меня по едва заметной тропинке, петляющей в густом кустарнике.

— Ты, Сашок,— спрашиваю у него, защищаясь рукой от хлестких веток,— наверно, очень любишь рыбачить?

— Угу, очень-преочень.

— И часто бегаешь на речку?

— Летом — почти каждый день. А когда начинается школа, мне не с кем ходить. Все ребята учатся, а одному рыбачить мама не разрешает. Хотя бы скорее мой папка приехал!

— А ты его любишь?

Сашка резко останавливается, удивленно смотрит на меня, насунив белесые, выгоревшие на солнце брови:

— Ну ты и даешь, дядя Андрей! Как же можно не любить папку?!

— Ладно, не обижайся на меня, пожалуйста, за неумный вопрос,— извиняюсь я.— Но скажи мне, ты помнишь отца-то?

— Помню, все помню!— так и подается весь ко мне маль-

чишка.— Хочешь, расскажу? Раз такая умора была. Шли мы из магазина, а на улице такой ветрище, словно Соловей-Разбойник свистел. Мне-то ничего, я маленький. А вот папка мой высокий, так его ветром качало из стороны в сторону. Я так смеялся! И он — тоже. Одна мама только почему-то сердилась.

— На рыбалку отец тоже ходил с тобой?

— Ходил. Но не всегда. Он у нас часто болел: то у него голова почему-то трещала и разламывалась, то... Дядя Андрей, вот уже и речка!

Пока я снимаю и развязываю рюкзак, Сашка успевает закинуть удочку в воду.

— Теперь — молчок! — приложив палец к губам, шепчет он. — А то всю рыбу вспугнем.

Но вскоре, забыв о своем же предупреждении, радостно приплясывает:

— Смотри, какого я пескаря поймал! Наверняка, кило весит.

Я улыбаюсь невольно, так как в рыбешке и ста граммов не будет, и сам забрасываю удочку. Страсть рыбака! Кому только она не известна, кто не испытал ее? Качнется, вздрогнет поплавок — и ты уже, не помня себя от волнения, изо всех сил дергаешь на себя удилице.

Но сегодня у меня, как назло, не клюет. С завистью поглядываю на Сашку, который успевает вытаскивать рыбешки одну за другой. Перехожу на его место, но результат тот же. Наконец я, потеряв всякую надежду, жалуясь.

— Что-то у меня совсем не клюет.

— А ну-ка, покажь крючок! — приказывает он. Разглядев его, Сашка укоризненно качает головой: — Зачем же ты белого червяка насаживаешь? Нужно красного — его лучше в воде видно. И не всего червяка насаживай — так пескарь только баловаться будет, объедая его. Ты лишь крючок закрывай.

Я следую его совету, вновь закидываю удочку — и поплавок тут же скрывается под водой. Дергаю удилице. В воздух взлетает жирный пескарь. Но пока подвожу к себе леску, он срывается с крючка и ожесточенно бьется у самой кромки берега. Бросаюсь к нему, суетливо пытаюсь накрыть его руками, но добыча выскользывает и оглушительно, как мне кажется, плюхается в воду.

Какая досада! Растерянно смотрю на Сашку. А тот, схватившись руками за живот, звонко, заливисто хохочет.

— Ох, умора! — успокоившись, говорит он, вытирая ла-

дошкой веселые слезы.— Ты, дядя Андрей, ну, совсем как дикарь, прыгал возле пескаря.

— И все же упустил...

— Ну и что тут такого? Другого поймашь. Только больше не дергай так сильно удочку, а то опять сорвется.

И снова рыбачим. Солнце близится к полудню. Сашка начищает сматывать удочку.

— Ты чего?— спрашиваю его недоуменно.

— Сейчас клев кончится,— поясняет он,— да и рыбы уже хватит на уху. А куда ее больше?— И неожиданно предлагает:— Давай к маме ходим. Тут совсем недалеко. Там и уху сварим. Зато знаешь, как мама обрадуется!

Я охотно соглашаюсь. Мне и самому хочется вновь встретиться с Ольгой. Идем по лесу. Сашка опять впереди. Уже слышен рокот тракторов, перекличка лесорубов, шум падающих деревьев. Сашка подает знак остановиться. Выглядываем из-за кустов, и я сразу же замечаю Ольгу. Разрумянившаяся, с бусинками серебристых капелек пота на лице, она ловко обрубает сучья на спиленной лиственнице.

— Мама, а вот и мы!— выскакивает вперед Сашка.

Ольга вздрагивает от неожиданности, но, увидев сына, радостно улыбается. Я тоже выхожу из укрытия.

— И ты, Андрей!— удивленно поднимает она свои красивые темные брови, а сама тем временем поспешно и смущенно поправляет на голове сбившийся платок.

— Видишь, мамка,— теревит ее тем временем за обшлага куртки Сашка,— сколько мы рыбы паловили! Давай уху варить.

— А кто же, сынок, за меня работать будет?

Я протягиваю руку к топору:

— Давай я подменю тебя. Мне ведь, как сказала бабушка, полезно размяться.

— Да что ты! Неудобно как-то, да, к тому же, запачкаешься...

— Ничего,— настаиваю я,— грязь не сало, помыл — отстала.

— Ну раз уха, так уха,— соглашается, наконец, она, передавая мне топор. И сразу же принимается собирать для костра сухой хворост, а Сашку отправляет к ручью за водой.

Я изо всех сил машу топором, но дело почему-то не ладится. Сучья словно железные — топор так и отскакивает от них. Чувствуя, Ольга подсматривает за мной и, отвернувшись, смеется.

Накопец уха сварена. Я к этому времени сле-сле держу топор в руках. Ладони горят огнем, будто их окунули в кипяток. В двух местах вспухли багровые мозоли. А пот так и каплет с меня градом.

— Как же ты, Оля, целый день топором машешь? Я какой-то час поработал — и то выдохся.

— Это с непривычки. А пообвыкнешь, втянешься — и не замечаешь. А ну-ка покажи, покажи, что у тебя с руками! Э-э-э, что же ты наделал?— Она берет мои ладони в свои, дует на них, участливо спрашивает:— Сильно, небось, саднят?

— Да что ты на самом деле, — смеюсь я. — Пустяки. До свадьбы заживет.

К нам подходит группа рабочих. Один из них, пожилой мужчина, с обильной сединой в волосах, склонившись над котелком и шумно потянув носом воздух, блаженно закрывает глаза от удовольствия:

— Да у вас прямо царский обед. Попотчуйте и нас ушницей!

Я узнаю его. Дядька Константин. Большой друг всей здешней ребятни. Когда-то мне и моим однокашникам он мастерил свистульки из вербы, катал на лодке, учил плавать.

— Присаживайтесь, пожалуйста, к нашему столу, — гостеприимно приглашает Ольга лесорубов. — Только вот беда — ложка у нас одна. Просто не знаю, как быть...

— А ты и не ломай голову, — ухмыляется дядька Константин в свою густую бороду. — Орудие производства у нас, чать, всегда под рукой. — И он вынимает из-за голенища кирзового сапога деревянную расписную ложку.

Садимся кругом. Уха получилась отменной. Все едят с аппетитом. Вскоре котелок пуст.

— Ну, громадное спасибо тебе, Ольга! — благодарит за всех дядька Константин, сворачивая «козью ножку».

— Меня-то за что? Это вот они наловили, — кивает она в нашу с Сашкой сторону.

— И сынку твоему, знамо дело, благодарность наша, и молодому незнакомому человеку — тоже...

— Это Андрей, — говорит Ольга, — внук бабушки Пелагеи. В отпуск вот к нам приехал.

— Вон оно что! — обрадованно восклицает дядька Константин. — Ну, здорово, Андрейка. Ишь, каким орлом стал! Прямо не признать. Слышал, что ты приехал, да все никак не заскочу к вам. А ты-то хоть припоминаешь меня?

— Еще бы! На твоей ведь сине когда-то по всему поселку разбегал.

— Вот стервец, не забыл ведь, а!-- шумит он, довольно оглядывая всех.— А ты, орел, в отца пошел. Ей-ей, в отца! Вылитый Павел — и нос, и разлет бровей, и улыбка, как у него.

Мы оживленно беседуем, припоминаем прошлое, рассказываем о настоящем. Мне очень приятно от того, что меня не забыли в Светлой Пади, что я свой здесь.

— Ну, ладись,— поднимается дядька Константин, а вместе с ним и остальные,— поговорили, отвели душу — пора и за дело. Об остатном домолвим в свободный час.

Ольга тоже берется за топор.

— А нам чем заниматься?— спрашиваю у нее.

— А вы разве не собираетесь уходить?

— Нет!-- отвечаем мы с Сашкой в один голос.

Ольга смеется, покачивая головой:

— Раз так, то помогайте жечь сучья.

Несколько раз пытался подменить Ольгу на рубке сучьев, но она не согласилась:

— Мне теперь и так попадет по седьмое число за тебя от бабушки. Надо же, как изорудовал руки...

Вечереет. Прозвенел подвешенный к дереву кусок рельса, оповещающая о конце работы. Легозаготовители сходятся в кучку, все разом закуривают, неторопливо переговариваются между собой, поджидая машину из поселка.

— Мы тоже будем ждать, или...

— ... пешком?— договариваю я за Ольгу.

— Пешком лучше,— подводит черту Сашка.— Мы с тобой, дядя Андрей, опять вперегонки побегаем.

На том и решаем.

Сашка, как всегда, впереди. Мы с Ольгой идем рядом.

Удивительно красив осенний лес: весь золотой, таинственный, в трепетном ожидании чего-то. Заденешь нечаянно ветку, и посыплется, задумчиво шуруша, желтый жидь листьев. А в небе — клин журавлей.

На лице Ольги светится радостная улыбка.

— А теперь давайте побежим наперегонки, как договаривались. Приготовиться! Раз, два, три!..

Бежим рука об руку с Ольгой. Вдруг я спотыкаюсь о корень. При падении успеваю повернуться и подхватить Ольгу, чтобы она не ушиблась. Сперва мы просто оглушены неожиданно

данным падением. Я лишь вижу широко раскрытые Ольгины глаза, затем слышу ее испуганный шепот:

— Ты не ушибся?

— Нисколечко, даже вот ни капельки,— отвечаю ей по-сашкиному.

Губы ее так близки! И я уже, было, потянулся к ним. Но меня останавливает голос Сашки:

— Эх, вы, пехи-неумехи! Все равно, как дети, ни на минутку нельзя оставить одних.

Весело рассмеявшись, поднимаемся и вновь продолжаем путь.

Возле поселка Ольга осторожно освобождает свою руку из моей:

— Вот и дошли уже.

— Так быстро?— вырывается у меня.

Ольга пристально смотрит на меня, отводит взгляд, чему-то задумчиво улыбувшись.

Сашка жмется ко мне, спрашивает:

— Давай и завтра сходим на рыбалку!

— Обязательно, Сашок, сходим.

— Ну, тогда ладно. До свидания!

Теперь отпуск летит незаметно. Бегаем с Сашкой на рыбалку или просто бродим по лесу. А вечерами все вместе ходим в кино.

Мальчишка с каждым днем все больше привязывается ко мне. Позавчера даже отпросился у матери попочевать со мной. Та, было, хотела отказать, но его поддержала бабушка:

— Да отпусти. Али у нас места мало? Все мужикам все-лее будет.

Той ночью мы долго не смыкали глаз. О чем только не переговорили! Потом я рассказывал сказки. Пересказав все, какие знал, стал сочинять свои.

— Вот, слушай,— говорил я полусшепотом,— жил-был, значит, один мальчик. Хороший-прехороший. Да только вот скучал он часто, потому что был самым маленьким в царстве-государстве. В школу его не брали, на рыбалку — тоже. Но вот однажды прибыл в те края один добрый дядя. Посмотрел на мальчика, пожалел его: «Как же ты тут без меня жил один?» Кто бы, ты думаешь, Сашка, был тот дядя?

— Папка! Конечно же, он!— с радостным волнением отве-

тил мой юный слушатель.— Я знаю, когда он вернется домой, обязательно спросит у меня, как я жил без него.

Больше мне почему-то не захотелось придумывать сказки. Молчал и Сашка. Затем спросил:

— Дядя Андрей, а ты нигде не встречал моего папку?

— Да я ведь, Саша, его даже в лицо не знаю.

— У меня есть его фотка. Я ее покажу тебе. А когда ты поедешь от нас назад и увидишь его, то скажи ему, что я его очень-преочень жду. Не забудешь?

— Нет.

Он крепко обнял меня и почти тут же уснул. А ко мне долго не приходил сон.

Сегодня — День работников леса. С утра весь поселок в приподнятом настроении. Это и понятно. Ведь большинство его жителей — лесозаготовители.

Вечером идем в клуб, который заполнен до отказа. Начальник лесопункта начинает доклад. Он пространно говорит о значении леса в жизни человека и народном хозяйстве страны, о том, как прежде варварски и хищнически обращались с «зеленым другом», и как теперь полновластные хозяева страны, люди труда, взяли его под надежную охрану, рачительно и бережно используют лесные богатства.

— Короче, Петрович!— кричат из зала.— Мы об этом уже довольно слышали. Лучше скажи, с чем мы встречаем свой праздник.

— Короче, так короче,— охотно соглашается тот. Закрывает папку, снимает очки, близоруко улыбается:— Поработали мы, дорогие товарищи, усердно, на совесть. За восемь месяцев справились с годовым заданием.

— Вот это дело!— слышатся одобрителльные возгласы.

Начинается награждение передовиков. Вот назвали Ольгину фамилию, весь зал дружно зааплодировал. Вся зардевшись, Ольга поднимается на сцену. Ей усердно трясут руку, тепло поздравляют, вручают Почетную грамоту и транзистор: с песней, мол, и дело спорится.

После торжественной части смотрим фильм «Русский лес». А по окончании его объявляются танцы.

— Танцы!— вся так и вспыхивает Ольга.— Я уже и забыла, когда в последний раз танцевала.

— Вот и потанцуйте, отведите душу,— говорит бабушка.— Чего домой-то молодым торопиться. Это уж нам с Сашкой —

старому да малому — пора на покой. А вы веселитесь себе — на то ведь и праздник. А Сашка пылче пусть у нас заночует.

Чувствуется, тому не хочется уходить из клуба, но, услышав последние бабушкины слова, сразу же выселает:

— С дядей Андреем буду спать?

— Конечно, со мной,— отвечаю я.

— Ну, тогда я согласен. Пойдем, бабуня. А вы,— обращаетесь он к нам, повторяя слова бабушки,— потанцуйте, отведите душу.

Расставляем вдоль стен стулья и скамейки. Завклубом включает радиолу. Лютуют звуки вальса. Закружились первые пары. Мы с Ольгой тоже входим в круг. Легкая и веселая волна подхватывает нас, стремительно несет мимо стен — они теряют свои очертания, превращаются в концентрические линии. Я ничего не различаю. Ничего, кроме Ольгиных глаз, таких лучистых и счастливых.

Веселье заканчивается поздней ночью. Идем по улице, разгоряченные танцами.

— Посидим?— предлагает Ольга, когда подходим к ее дому. Присаживаемся на скамейку.

— Я, Андрей, не навязчивая?

— Да что ты, Оля! Я ведь сам хотел предложить это же.

— Правда? Вот и хорошо! Не знаю, почему, но я сегодня такая счастливая. Да и ночь уж больно удивительная! Просто не хочется расходиться по домам.

Я беру Ольгины руки в свои, нежно глажу их.

Неожиданно возле нас вырастает чья-то фигура. Приглядевшись, узнаю дядьку Константина.

— А пу-ка погляжу,— басит он,— что это здесь за полуночники.— Потом весело смеется:— Небось, напугал вас? Домой вот добираться. Малость задержался у ребят ради праздника. Ох, и достанется же теперь мне от моей старушки на орехи.

— А ты ее, Нефедыч, задобри, чтобы не ругалась,— советует Ольга.

— Как задобрить-то?

Ольга срывается со скамейки и вскоре возвращается с большим букетом белых астр.

— Хм, ровно к невесте на свиданье пойду,— неуверенно топчется на месте дядька Константин.— А моя-то лада уже шестой десяток разменяла.

— Ничего,— подбадривает его Ольга,— цветам все возрасты покорны.

Константин Нефедович тепло благодарит Ольгу, отходит, но затем снова возвращается.

— Да,— переминается он с ноги на ногу,— тебе, Андрей, хочу сказать пару слов... Ты, смотри, не того... не забидь Ольгу. Мы за нее того... по всей строгости, понял?

— Да что ты, Нефедыч,— перебивает его Ольга.— К чему все это говоришь? Андрей ведь такой хороший!

— Ну, тогда я спокоен. Ухожу, ухожу. Извиняйте старика.

Мы некоторое время сидим молча, потом я спрашиваю:

— А откуда, Оля, ты знаешь, что я хороший! Может, наоборот...

— Нет,— машет она головой,— ты очень хороший. По глазам вижу. Они у тебя добрые. Я это еще при нашей первой встрече заметила.

И снова молчим, хотя мне сейчас так много хочется сказать Ольге. Сказать, что я очень полюбил ее. И я сию же минутку скажу ей об этом.

— Оля,— начинаю я.

— Что, милый?— заглядывает она мне в глаза.

«Милый»! Все поет и ликует во мне.

Я влюблен. Влюблен горячо, искренне, навсегда. Просто не представляю себе, как мог раньше жить без Ольги. Даже несколько часов разлуки, пока она на работе, для меня — целая вечность.

Чтобы как-то убить время, читаю книги, помогаю бабушке по дому, бегаю с Сашкой на рыбалку, пробую даже писать стихи.

Бабушка с улыбкой поглядывает на меня и, чувствуется, рада не меньше моего. А сегодня, обняв мою голову, спросила:

— Блазнится мне, Андрюша, что нашел свою золотую рыбку?

— Нашел, бабуня!

— Вот и чудесно. Теперь, глядишь, и к бережку приберешься. Женишься на Ольге, и я, так уж и быть, уеду с вами. То-то все вместе заживем!

Об этом я и хочу поговорить с Ольгой.

Как всегда, мы сидим на скамейке у ее дома.

— Оля,— прикрыв ее от ветерка своим пиджаком, начинаю я,— мой отпуск подходит к концу. Скоро мне надо уезжать. И я очень хотел бы, чтобы мы уехали вместе.

— Да я с тобой, милый, хоть на край света.

— Спасибо! Значит, решено?

— За мной, Андрюша, дело не станет. Сашка-то вот как?

— А что Сашка?

— Любит ведь он отца. Даже во сне им бредит...

— Я сделаю все, чтобы заменить ему отца. Понимаешь, я тоже полюбил его как сына. Вот посмотришь, все будет хорошо.

— Дай-то бог!

Потом мы говорим о предстоящем отъезде, строим разные планы, которые кажутся нам легко выполнимыми. За разговорами и мечтами не замечаем, как пролетает почь. Утренний свежий ветерок раздувает рассветную зорьку.

Есть что-то неповторимое в сибирских зорях. Вот над дальней кромкой гор несмело занялась багровая полоска. Затем прямо на глазах она разрослась в несколько рядов самых разных оттенков: золотистых, светло-зеленых, синих, которые так напоминают собой сполохи северного сияния. Так длится несколько мгновений. И вдруг валы непередаваемых красок обрушиваются, приходят в движение. Они клокочут, накатываются друг на друга и, схлестнувшись, сплавившись, становятся огненными. Кажется, что и земля, и небо охвачены небывалым по своему размаху пожаром, в пламени которого плавают очертания гор и тайги. Но постепенно прибой зари слабеет, откатывается. Вот-вот взойдет солнце. Поселок уже проснулся: голосисто кукарекают петухи, незлобно лают собаки, мелодично позванивают подошники под упругими струями молока.

Ольга освобождается из моих объятий, неохотно поднимается со скамьи.

— Пора расходиться,— говорит она и ласково прижимает мою голову к груди.

— Давай еще немного посидим,— упрашиваю я,— ты только посмотри, какое чудесное утро!

— Нет, нет. Пора, милый, а то еще увидит кто-нибудь.

— Ну и пусть. Чего нам скрывать?

— Не перевелись злые языки у нас. Пойдут по поселку разные наговоры да пересуды. А я так хочу, чтобы все было светло и чисто, чтобы наша любовь ничем не была запачкана.

— Посмотри, какое утро!— не слушаю я ее.

— Оно у нас не последнее. У нас с тобой, Андрюша, целая жизнь впереди. А сейчас пора по домам. Мне нужно на работу собираться, да и тебе не лишне будет вздремнуть часок-другой. Ведь вы с Сашкой сегодня опять на рыбалку...

И легкой походкой, счастливая и красивая, Ольга уходит

по тропинке, усыпанной золотистой листвой. Я провожаю ее нежным взглядом. Есть в ней что-то от зорьки, от светлого рассвета.

Собираюсь на рыбалку. Уже давно приготовлены удочки, сложен рюкзак. Дело только за Сашкой. Но он, что не похоже на него, почему-то запаздывает. Нетерпеливо поглядываю в окошко. Ага, вот он, постреленок, несется по улице во всю прыть — аж рубашонка пузырем надулась!

— Рыбалка откладывается! — кричит он с порога, а сам весь так и светится.

— Почему? — недоумеваю я.

— А вот и потому! — радостно заявляет Сашка. — Мой папка приехал! Я же говорил тебе, что он обязательно вернется!

Я ошарашен, ничего не могу сообразить. А Сашка уже исчезает. Устало опускаюсь на лавку. Чуть погодя приходит Ольга. Лицо у нее бледное, глаза заплаканные. Опершись о дверной косяк, долго молча смотрит на меня. Потом спрашивает каким-то надтреснутым голосом:

— Уже все знаешь?.. Сашка, небось?.. Спозаранку успел весь поселок оповестить... — Присаживается рядом со мной. — И откуда только черти принесли этого Гришку? Что же делать будем, Андрюшенька, а? — в ее голосе слышатся слезы.

— Как что? — прихожу я в себя. — Все останется так, как и решили мы.

Она тоскливо качает головой:

— Ничего, видно, из этого не получится...

— Как не получится? — чуть не кричу я.

— Сашка! — с болью выдыхает она. — Ты только посмотри на него: он ведь от счастья ног под собой не чувствует.

— Но о себе-то ты подумала? Ты же не любишь Григория. А без любви — что за жизнь? Одна мука. Уедем, Ольга, отсюда. Для Сашки я буду ничуть не хуже родного отца...

— Нет, милый, отца ему вряд ли кто заменит...

— Олюшка, — обнимаю ее, — мы так необходимы друг другу. Нам же нельзя быть врозь.

— Нельзя, — соглашается она. — Я и сама не представляю, как буду жить без тебя. Я Гришку и на порог не пустила бы. Но Сашка... Он же мне потом ни за что этого не простит.

Входит, вернувшись от соседей, бабушка.

— Прощай, Андрюша! Прости меня, дорогой! — прижав концы платка к глазам, выбегает Ольга из комнаты.

— Что у вас приключилось?— испуганно спрашивает бабушка.— Что с Ольгой? Выскочила, ровно ошаренная...

Рассказ мой короток.

— Да,— выслушав его, печально говорит она,— видать, не в счастливой сорочке родилась ты, Пелагея Ипполитовна, коль не придется тебе с правнуками попячнуться...

Готовлюсь к отъезду. Правда, можно бы еще дней пять пожить в Светлой Пади, но после случившегося невогноту оставаться тут. Бабушка не настаивает, понимает мое состояние. Переживает не меньше — все так и валится у нее из рук.

— Принесло же его, окаянного!— то и дело срывается с ее уст.

И хотя она не называет конкретно виновника, я знаю, что речь идет об Ольгином муже.

Смотрю в окно. Над Светлой Падью нависло серое низкое небо. Прежние краски осени стерлись, потускнели. Кто-то нерешительно стучит в дверь.

— Заходи, коль не шутишь,— приглашает бабушка, даже не повернувшись на стук.

Чувствуется, не до гостей ей сейчас.

Входит невысокий мужчина, на голове копна русых волос. Ему лет под тридцать. По всему видно, что прожил он их бурно и нелегко. В зеленых глазах застоявшаяся усталость. На висках — ранняя седина. Лицо изборождено морщинами. Я еще не успеваю хорошо разглядеть незнакомца, как бабушка, обычно ласковая и добрая к людям, коршуном набрасывается на него:

— Зачем пожаловал, нехристь? Что забыл у нас?

— Да вот, Пелагея Ипполитовна,— отступая к порогу, говорит тот,— к внуку твоему пришел. Разговор у меня к нему есть.

— Я те такой разговор покажу,— наседает бабушка,— что ты ног своих отсюда не унесешь!

— Объясните же, наконец, в чем дело?— вмешиваюсь я.

— Ты — Андрей?— спрашивает мужчина.— А я — Ефимов, Ольгин муж... Потолковать бы нам нужно.

— Проходите. Садитесь,— сухо приглашаю я его.— Слушаю вас.

Ефимов ерзает на стуле, смущенно покашливает, поглядывая на бабушку:

— Наедине бы нам...

Я прошу бабушку оставить нас одних. Но она наотрез отказывается:

— Ишь, что удумали. Еще устроите тут побойце. С места не сойду.

Григорий невесело улыбается, а после решительно машет рукой:

— Э-э, была не была. Чего уж там скрывать, если об этом весь поселок знает. Закурить-то можно?— Сделав несколько глубоких затяжек, продолжает:— Ольга мне, Андрей, как на духу все рассказала. Что полюбила тебя...

— Не тебя же, ярыжку, любить,— перебивает его бабушка.

Но он, словно не слыша ее упрека, обращается ко мне:

— Тебе она, наверно, тоже приглянулась?

— Допустим. Что из этого?

— Да ты не кипятись,— миролюбиво осаживает меня Ефимов,— не с руганью я к тебе пожаловал. Хочу поговорить с тобой по душам. Обиды на тебя не таю. Знаю, Ольгу трудно не полюбить. Такую, как она, не часто встретишь. Мне-то она, говоря откровенно, случайно досталась...

— Трудно не полюбить... Случайно досталась,— передразнивает его бабушка.— А почто тогда не бережешь своего счастья, какого лешего, скажи, водку жрешь?

— Эх, Ипполитовна, Ипполитовна,— непритворно вздыхает Григорий,— вышло у меня все навроде той красивой птахи, которую изловчились поймать. Смотришь на нее — и не налюбуешься. И кормишь, и холишь ее, готов каждое перышко погладить. А она от твоих ласк в дальний угол забивается. Ничего ей не надо, лишь бы в покое ее оставили, поскорее на волю выпустили. Так вот и у меня с Ольгой получилось. Знал ведь, что не мил ей. Однако надеялся: сживется — слюбится. Не тут-то было. Так и осталась между нами вечная мерзлота. Может, с этого самого и пристрастился я к рюмке. И еще больше опостылел Ольге.

— А раз не мил, к чему тогда возвратился?— продолжает вопрос бабушка.

Горькая улыбка пробегает по лицу Ефимова:

— Сытый голодного не уразумеет. Что поделаешь, если прикипел я к ней да и к сынишке всем сердцем... Два года с лишним мыкался по разным краям. Думал, уляжется боль. Куда там! С каждым днем все острее становилась. Вот и пытался залить тоску хмелем. А как, бывало, приду после попойки в себя, так хоть в петлю прыгай.— Григорий вновь прикуривает погасшую папироску.— Особенно Сашка не давал мне покоя.

Чуть, бывало, прикрою глаза, а он уже тут как тут передо мной. И все зовет, манит к себе ручонкой. Может, тем и спас меня. Махнул я в конце концов на всех друзей-собутыльников да и пошел к врачу. От алкоголизма лечился. После больницы не поехал сразу домой. Проверял себя, не потянет ли опять к рюмке, не сорвусь ли? Выходит, нет. Больше года уже не употребляю. Думаю, навсегда завязал...

— Вот и правильно поступил, Гриша. Давно бы так, — неожиданно примирительно заявляет бабушка. — Да где ж это видано, чтобы при родном отце ребенок сиротинкой рос. — Потом растерянно смотрит на меня, неожиданно спохватывается:

— Ох, господи, совсем про курей забыла. С утра ведь сидят голодные. Пойду покормлю. А вы уж без меня свои разговоры договаривайте.

Едва за бабушкой закрылась дверь, я обращаюсь к Ефимову:

— Как же ты, Григорий, будешь жить с Ольгой, если она терпеть тебя не может?

Он задумчиво потирает подбородок:

— Понимаешь ли, Андрей, для меня уже будет счастьем и то, что буду каждый день рядом с Ольгой и Сашкой. Видеть, слышать их буду.

— А как же... мне теперь.

— Тебе легче, Андрей. Не переходи мне дорогу. С этим и пришел к тебе. Что скажешь?

Он терпеливо ждет моего слова. Я не тороплюсь с ответом.

— Ладно, — пересилив себя, говорю ему. — Живи тут, радуйся... — Говорю и чувствую, как рвется последняя ниточка, соединяющая меня с Ольгой.

В обратную дорогу меня провожает одна бабушка. Больше пекому. Ольга на работе. К тому же она не знает о моем отъезде. Да если бы и знала...

Сашке сейчас тоже не до меня. Наверное, ни на шаг не отходит от отца.

Мы стоим на пристани в ожидании попутного катера. Дует промозглый ветер. По низкому небу, цепляясь за верхушки деревьев, плывут тяжелые тучи, из которых беспрестанно сеет мелкий нудный дождик.

Настроение под стать погоде. Мне трудно покидать поселок, оставлять бабушку. Вот она, стоит рядом со мной, старенькая, ссутулившаяся, вся посиневшая от холода. Я смотрю

на нее и с болью думаю, что недолги ее годы, что, может, в последний раз вижу ее. Перед отъездом долго уговаривал ее поехать со мной. Но она отказалась.

— Да как же ты будешь здесь одна?

— Не пропаду,— успокаивала она меня,— есть пока силы. А когда оставят, тоже не буду без присмотра. Сам знаешь, живет наша Падь семьей единой. Не оставляем друг дружку в беде. Да и почему это я одна? Разве та же Ольга забудет ко мне тропку?

Ольга... И зачем только встретила ты на моем пути?! Внесла в мою жизнь столько света и радости и одновременно — боли и горечи. Говорят: первая любовь долго помнится. Наверное, так оно и есть. Думаю, что ни время, ни расстояние, ни обстоятельства не смогут загасить глубокого, нежного и жгучего чувства, пробужденного во мне Ольгой.

Не забудется и Сашка — славный, солнечный мальчуган. Я всегда буду тепло вспоминать о нем. Он тоже не знает о моем отъезде. Это и к лучшему.

Подходит катер.

— Что, европеец,— слышу я знакомый капитанский бас,— уже отчаливаешь из Сибири? Ну, залазь пошустрее! Торопимся. В последний раз обнимаю бабушку.

— Ты уж, внучек,— уткнувшись лицом в мою грудь, протитительно говорит она,— не обижайся на меня, старую, за тот случай.

— За какой?— не понимаю я.

— Да за тот, когда к нам Гришка Ефимов приходил. Тогда, помнишь, я похвалила его за то, что он бросил пить и возвратился к семье. Получилось, будто я супротив тебя пошла.

Так вот в чем дело! Вот почему в последнее время она как-то виновато прятала от меня глаза.

— Но ты пойми меня, Андрюша, не могла я иначе... Мне и на чужую беду смотреть больно. Ну, какое, скажи, было бы у Сашки детство без отца? Хоть он один счастлив.

Милая, отзывчивая бабушка! За всех-то она переживает, все-то беды ей не чужие.

— Спасибо тебе, родная!— говорю ей взволнованно.— Спасибо за доброту к людям!

— Эй, поторапливайся!— кричат с катера.

Я избегаю по трапу. Дизель набирает обороты.

— Дядя Андрей! Дядя Андрей!— неожиданно доносится звонкий детский голосок, который я, кажется, без труда узнал бы из тысячи.

По пригорку, подскользываясь и разбрызгивая лужи, скатывается маленькая фигурка. Сашка! Не помню, как снова оказываюсь на берегу. На лету подхватываю и прижимаю к себе обливающегося потом, всего в грязи мальчишку.

— Как же ты, постреленок, проведал, что я уезжаю?

— Узнал вот...— еле переводит он дух,— меня не проведешь.— Но вскоре признается:— Мамка сказала. А ты взаправду уезжаешь?

— Взаправду. Пора мне. Кончается отпуск, надо на работу.

— Конечно,— соглашается Сашка,— без работы нельзя. Ты же не тунядец. А когда опять к нам приедешь?

Хочется, чтобы не бередить мальчишескую душу, сказать, что очень скоро. Однако не могу обмануть.

— Наверно, никогда больше...

— Никогда? А почему?

— Так уж получилось, дружок. Вырастешь — узнаешь...



Михаил ДУЮНГАР

ВОЛЧЬЯ НОЧЬ

(Р а с с к а з)

Солнышко, переночевав, как всегда, за горами, давно проснулось и теперь щедро дарило свет и тепло. Лесная чаща радовалась утру.

На полянке, вокруг которой рос приземистый и густой кустарник, спал человек. Неподалеку от него пасся конь саврасой масти со стройной, чуть изогнутой шеей. Спящего одолевали мухи, комары и слепни. Они кружились над не защищенным лицом, жужжали, пищали, садились на лоб, щеки.

Внезапно человек проснулся, быстро приподнялся на колени и стал с опаской озираться вокруг. Но конь его безмятежно щипал сочную траву. Значит, все в порядке. И бояться ему нечего. Савраска заметил, что, наконец, хозяин проснулся, громко фыркнул, стриганул ушами, повел в его сторону темными влажными глазами.

Хозяин подошел к коню, ласково похлопал его по крупу и отступил к ели, под которой лежала переметная сума. Позавтракал вкусными пресными лепешками, жареными на топленом масле, запил чаем прямо из горлышка пластмассовой

фляжки. Правда, чай был холодный, но, тем не менее, утолил жажду: по всему телу разошлась прохладная бодрость. Чай он берет, и когда в пути хотелось выпить, ложился к таящему ручью и припадал к нему губами.

Круглые румяные лепешки напоминали родной очаг, жену, маленьких дочурок-близнецов и даже отару, которую он недавно пас. Ведь он в ней знал каждую овцу, одаривая их ласкательными кличками.

Последний раз он видел жену и дочерей четверо суток назад. Темной ночью, крадучись, зашел в юрту. Жена не спала, тихо сообщила ему, что приезжал его старший брат. Мужа ни о чем не расспрашивала, да и сам он ей ничего не говорил. Только спросил:

— Один был?

— Один. Тебя спрашивал.

— А милиционеры больше не показывались?

— Нет.

Девочки сладко спали в одинаковых рубашках с какими-то цветочками, над которыми порхали мотыльки... Жена было собралась развести огонь и приготовить горячую пищу, но он ее остановил:

— Не надо. Скоро начнет светать. Мне пора. Пока. Береги вот их,— он кивнул головой в сторону девочек.— Да в оба смотри за совхозными овцами. Меня не провожай.

Он взял мешок с едой на несколько суток. Уже переступая порог юрты, будто что-то вспомнил, порывисто подошел к дочкам и нежно поцеловал их в пухлые, загорелые щеки. Безмятежные улыбки скользнули на губах близнецов, их курносые носики посапывали: может, они в то мгновение во сне видели лицо отца. Спиной чувствовал молчаливые рыдания жены...

От этих воспоминаний, любви к дочкам и жалости к жене сердце его сжалось в груди в страдающий комочек.

Он стал собираться в дорогу. Пока приторачивал суму с припасами, мысленно проследил одну за другой несколько стоянок, которые он сменил, замечая следы. Сейчас тоже переметнется куда-нибудь. Места знакомые, каждый кедр — брат, каждая гора — сестра. И вдруг его, как молнией, пронзила мысль: «И сегодня и завтра от людей убегу, а от себя куда бежать? Разве скроешься от собственной судьбы?»

Вместе с другими чабанами в местечко Белдир-Шол на летнюю стоянку перекочевала и семья Дупчура. Над чайлагом

темно-синим покрывалом опускалась ночь. Звезды, как золотые монеты, загорались в вышине. Веселые ребячьи голоса утихали. Угмонились в загоне резвые козлята и ягнята. Время от времени кричала ночная птица.

Благодатную тишину чайлага нарушил лай собак, которые встретили пятерых всадников, подъехавших к юрте сарлыковода Дупчура. Спешившихся путников встретил сам хозяин и, поприветствовав их, гостеприимно пригласил в юрту. Хотя и темновато было, но Дупчур сразу узнал среди вошедших Хувара, высокого, начинающего полнеть начальника районного отдела милиции. Четверо других были молодые, под стать майору, высокие и крепкие ребята. Это был второй приезд милиционеров на чайлаг к Дупчуру.

Хувар представил одного из молодых.

— Старший следователь Кыргыз Севек.

Остальных милиционеров Дупчур знал. Хозяйка быстро сготовила ужин.

— Что слышно о Конгаре?— вопрос был прямо обращен к Дупчуру.— Есть слухи, что он несколько раз бывал дома, уже после нашего посещения. Мы же просили, чтобы вы нам помогли поймать вашего брата, а вы...

Дупчур на тот упрек ответил категорично:

— Простите, дарга, я еще от вас ничего определенного об этом не слышал. Но сюда мой брат не показывался. Сам я позавчера был у них. Разговаривал с невесткой. Но она про мужа ни одного слова не промолвила.

— Акый¹, как вы думаете, он вооружен?— спросил следователь.

— В юрте ни карабина, ни бинокля нет. Видно, прихватил с собой.

— А на чем он уехал?

— Не на «Волге» же. На своем Савраске. У него он один. Сам вырастил. Еще жеребенком совхоз премировал его.

— За что?

— Как за что? За хороший чабанский труд, разумеется.

Уставшие и проголодавшиеся путники с удовольствием принялись за ужин. В юрте топилась железная печка — суугу и от ее докрасна раскаленных боков пыхало жаром. Гости отодвинулись от печки. Хозяйка начала стелить постели на ночь. Милиционеры, хотя и очень хотели улечься и дать храпака, но не смели: майор беседовал с Дупчуrom.

¹ Акый — обращение к старшему.

— Будем говорить пачистоту,— тихо промолвил он,— нам без вашей помощи не обойтись. Подумайте сами, товарищ Дупчур, ведь мы за Конгаром почти полмесяца голяемся. Конечно, он эту тайгу, как и вы, знает хорошо, и поэтому ему везет пока. Один раз он уже в наших руках был. Да... Вот именно — почти, да, как уж, ускользнул.

Все молчали. Хувар, подбирая более убедительные доводы, продолжил:

— У брата вашего жена, дети, большая совхозная отара. Ведь не муху, а человека убил. При каких обстоятельствах, суд разберется. Но чем скорее Конгар добровольно сдастся в руки правосудия, тем лучше будет для него самого. Мы знаем, что непреднамеренно Балчыра убил. Суд выяснит истину и определит степень его виновности. Нам нужна ваша помощь. Он вам родной брат, и судьба его, разумеется, не безразлична вам.

— Чего вы хотите?— спросил Дупчур.

— Вы, может, знаете, в каких дебрях скрывается ваш брат:

— Так-то оно так...

— Ну вот и хорошо. Попробуйте поговорить с ним по душам. Не будет же он от вас удирать.

— Понимаю, все понимаю... Но как с ним разговор начать, с чего?

Хувар не сразу нашелся:

— Брат брата наверняка поймет.

— Трудно будет Конгара найти,— вздохнул Дупчур.— Вон она, тайга, какая, можно сказать, нехоженная.— И давая понять, что на этом разговор исчерпан, засунул под подушку трубку, кисет и встал. Добавил:— Другой бы на его месте сам явился с повинной. Эх, дела!..

Хувар, тоже поднимаясь, обратился к своим:

— Давайте, ребята, отдыхать.

Через несколько минут сон завладел всеми. Только одному Дупчур не спалось. Он вспоминал, как полмесяца назад виделся с братом.

В тот день Дупчуры делали кошму. На лужайке чайлага перед юртами мужчины мяли шерсть, заранее смоченную женщинами. Работа спорилась. И никто даже не заметил, как к ним подъехал Конгар. Он поздоровался со всеми и, отозвав в сторону брата, сообщил, будто кувалдой хватил по голове Дупчура:

— Сегодня ночью я, кажется, убил человека,— голос Конгара сорвался от волнения.

— Брат, опомнись! Кого? За что?

— Соседа. Лесничего Балчыра. Цили мы с ним араку. Много выпили, а потом... потом...

Конгар больше не смог ничего сказать, только горестно покачал головой: «Вот она, моя судьба. Как черная змея, подкралась и ужалила!»

— Где он теперь?— спросил Дупчур.

Брат молчал. Тогда он, изо всех сил схватив Конгара за ворот, потрянул его.

— Лежит у нас. Со вчерашнего дня. Дыхание тяжелое, с хрипом. Боюсь даже подойти к нему,— признался Конгар.— Может, ты, брат, посмотришь. Сердцем чувю — не выжить ему.

— А ты куда на лошади подался? Раз, говоришь, дышит, значит, есть еще надежда. Почему не вызвал врача? Уж не удирать ли задумал, а? Слышишь, даже думать об этом не смей! Поезжай домой. Я следом прискачу. Человек — существо живучее, может, его и спасут,— с этими словами он пошел к людям, бьющим шерсть.

Конгар — Дупчур видел — поскакал в сторону своего аала. А чуть погодя он сам отправился к брату. Но дома его не застал. Дупчур подошел к лежащему Балчыру, приоткрыл покрывало. Лицо его было в небольших ссадинах. Глаза закрыты, будто спит. Только в груди у него время от времени что-то булькало, дыхание вырывалось со свистом и хрипом. Пробовал разбудить его, бережно касаясь плеча. Но тот никаких признаков пробуждения не подавал. Дупчур попросил невестку рассказать, что тут случилось.

— Конгар заступился за меня и ударил его пестиком, который я ему сама и подала в руки,— без предисловий начала невестка.— Просила, умоляла Конгара все рассказать, как было, где следует, но он — ни в какую! Даже слушать не хотел.

Дупчур съездил в село за врачом. Доктор, осмотрев Балчыра, безнадежно махнул рукой: вряд ли доvezут его до больницы.

Лесничий скончался по дороге. Дупчур узнал об этом через два дня от милиционеров, которые приезжали к нему после случившегося. А Конгара будто болото засосало. Вот и вновь милиционеры приехали к Дупчур.

Наконец, и он закрыл глаза, решив: «Завтра отправлюсь в тайгу за братом. Эх, жизнь, жизнь... Из-за какой-то отравы,

которую собака даже не пьет, человек превращает свою жизнь в грязную портянку». Незаметно для себя заснул.

Снова ночь спустилась с вершин Энгимелиг-Тайги, черной кошмой накрыла окрестность. Стояла оглушающая тишина. Даже ночная птица замолчала. Будто все вокруг вырнуло в бездну ночи. Временами сильный порыв тасжного ветра рвал верхушки деревьев, и тогда одинокому человеку, лежащему под раскидистой лиственницей, казалось, что пад шим, раскинув широкие черные крылья, парит неведомая злоеющая птица.

Человек не спал. Мысли одна мрачнее другой вопзались в мозг, как колючки караганника. Порой ему казалось, что ночь нескончаема и теперь никогда не наступит день. «Что делать? Что делать?..»

Вдруг невдалеке раздался вой, от которого у Конгара сердце екнуло в груди. Он давно привык к таежным голосам. Но этот вой был особенно жутким. Где-то рядом выл одинокий волк. Все сильнее раздавался его печально-тоскливый вопль, словно он жаловался на судьбу, призывая человека разделить вольчью участь. И Конгару захотелось так же жутко, по-волчьи, завывать, чтоб и сама Энгимелиг-Тайга задрожала, как осипувый листок. «Может, и он изгнан из волчьей стаи навсегда, нарушив извечный звериный закон?— подумалось ему.— Вот и изливает свое горе». Одинокий волк все выл и выл на разные голоса, и Конгар ни на секунду не сомкнул глаз.

Так, в близком соседстве, они и провели всю ночь.

Начало светать. Конгар встал. В голове шумело, глаза от бессонницы щипало. Он проклинал себя и одинокого волка. Земля была сырая: ночью прошел небольшой дождь. Рваные клочья тумана медленно поднимались к небу. Тайга ожидала восход солнца. Все живое пробуждалось.

Конгар отпустил Савраску с привязи на волю. Тот сейчас же двинулся к молодому ельнику и стал жевать никем не тронутую траву. Прилег, но о сне печего было и думать. Тяжко было на душе. Казалось: если бы он мог выскочить из своей кожи, то немедленно сделал бы это. Впервые за тридцать два года своей жизни он испытывал такие муки. Вновь и вновь перед его мысленным взором, как кадры из фильма, вставал тот проклятый день...

Перегнав шесть ведер хойтпака на араку Конгар позвал своего соседа лесничего Балчыра в гости. Тот не заставил себя

долго ждать. Вдвоем наслаждались свежей аракой и душистой бараниной. Хозяйка Конгара не участвовала в гулянке. Она только покрывала столик и подавала кушанья.

Балчыр был здесь человеком новым. С виду шустрый, большеглазый, с небольшим брюшком и очень кривыми ногами. Чуть захмелев, сообщил, что он из рода ондаров и что сидел за дело, связанное с убийством. Мужчины пили араку пиалу за пиалой. У Конгара перед глазами стало все расплываться. Сесин, женщина с приветливым, добрым лицом, жгуче-черными глазами, небольшой, но хорошо сложенной фигурой, сразу заметила, что этот гость не сводит с нее свои осовевшие глаза. Без конца подливал араку хозяину, стараясь завладеть вниманием его жены. Пьяные громко и нестройно орали то русские, то тувинские песни, не слушая друг друга.

После последней пиалы Конгар свалился и заснул. А гость не дремал. Он только и ждал, когда тот заснет. В тот момент, когда Сесин собралась уходить, лесничий схватил ее за талию и, сопя, повалил на кровать. Сесин колотила Балчыра изо всех сил, отталкивая от себя его потное лицо, кричала:

— Отпустите меня, слышите! Бессовестник! Напоили моего мужа, чтобы поиздеваться надо мной!

Балчыр, зверея, одной рукой закрыл ей рот. Тогда Сесин прикусила большой палец лесничего и не разжала зубы. Балчыру ничего не оставалось сделать, как оттолкнуть женщину от себя. Та, пошатываясь, упала на спящего мужа. Конгар проснулся.

— Ты какого бесстыдника пригласил в гости?— закричала Сесин на мужа.

— А... что такое?— ничего не соображая, еле выговорил хозяин.

Сесин не ответила, начала поправлять растрепавшиеся волосы. И только тогда поняв, что происходило, Конгар вмиг отрезвел и остервенело набросился на Балчыра.

Двое пьяных мужиков катались по юрте, хватая друг друга за горло. Возле самой кровати Балчыр сел на Конгара и начал душить его, скрипя зубами. Лицо поверженного налилось кровью, глаза его полезли из орбит. Все поплыло перед Конгаром в каком-то сером тумане.

Сесин несколько раз пыталась оторвать пальцы лесничего от горла мужа, но тщетно... Правда, она один раз удачно оттолкнула Балчыра в сторону. Но пока Конгар пытался подняться, тот вновь набросился на него и снова вцепился ему в горло. Тогда Сесин в отчаянье сунула в левую руку мужа

пестик, попавшийся в глаза. Она видела, как он размахнулся, и Балчыр мешком свалился с него.

Конгар все еще лежал, медленно приходя в себя.

— Убили человека! Ты слышишь?!— трясла мужа Сесин.

— Нет! Нет! Не может быть! Я... я же... Что ты говоришь? Умоляю тебя, не говори так!— Конгар мгновенно отрезвел и начал поднимать соседа, лежавшего ничком.— Балчыр! А Балчыр? Что с тобой, сосед?..

Балчыр не смог даже приподнять головы. Только что-то невнятно хрипел. Тогда супруги, надеясь, что сосед к утру придет в себя, подложили под его голову подушку и не сомкнули глаз, просидев возле него до самого утра...

Вспомнив все это, Конгар застонал, как смертельно раненый зверь.

Рано утром Дупчур оседлал коня и поехал. Он не стал будить милиционеров. Впереди простиралась Энгимелиг-Тайга, воспетая народом в его печальных и радостных песнях. А каких только звуков и шумов не услышишь в утренней тайге! Откуда-то из глуши доносилась дробь дятла. Серенький бурдучок выскочил из-под колоды и, минуя Дупчура, метнулся под крону молодой пихты. С высоты небес, над гребнями гор, разносился зовущий клеток коршуна. Невдалеке послышался треск сухих сучьев. Конь Дупчура подозрительно прислушивался к лесным звукам, прыдал ушами и время от времени приостанавливался.

На самой вершине тайги есть островерхие скалы, у подножия которых встала непроходимая чащоба. Там, среди кустов и деревьев, текли чистые и холодные горные ручьи. В чащобу незнакомому с местностью попасть невозможно: он непременно упрется в непролазную стену кустарника. Только с левой стороны скал есть взгорок. Дорогу эту Конгар знал с детства и наверняка прятался там. Но Дупчур почему-то не торопился туда, хотя уже давно стоял на вершине Энгимелига. Он всегда был человеком сдержанным и умел держать свои чувства в узде.

Разгулявшийся шаловливый ветерок слегка бил ему в лицо. Дупчур решил покурить. Достал трубку, набил табаком и, неторопливо покуривая, стал изучать окрестность. И тут невдалеке он увидел коня. Рука сама собой потянулась к биноклю. Да, это был саврасый Конгара. А чуть поодаль он заметил и фигуру человека. «Нашел все-таки,— облегченно подумал он и,

привязав коня, неспешно зашагал к брату. Но прямо подойти к нему он как-то не смел. Тогда Дупчур остановился и сухо кашлянул несколько раз. Было слышно, как брат спрятался в кусты. Конь Конгара прекратил щипать траву и, подозрительно фыркнув, тоже ушел в кусты.

— Конгар! Эй, Конгар! Это я, брат твой, Дупчур. Не бойся, я один. Выходи, браток, поговорим,— наконец крикнул Дупчур.

— Зачем приехал? Хотел мне что-то сказать? Или...— слышался недоверчивый голос брата.

— Никого нет со мной. Говорю тебе, я один приехал.

— Что ты хочешь, скажи оттуда, где стоишь.

— Да что с тобой, браток? Разве нас не одна мать родила, не один отец породил? Выходи, поговорим.

— Ну ладно, сам иди ко мне.

Дупчур бросил кнут на землю и пошел к нему. В этот момент ему казалось, что тайгу обхватила настороженная тишина. Только и был слышен шорох его собственных шагов.

Конгар вышел навстречу из-за ствола большого дерева. В руке он держал ружье. Лицом бледный, осунувшийся, с красными глазами, в которых отражалась тоска.

— Да, вижу, не сладко тебе, брат. Ну, сколько будешь бегать? Чем так мучиться, пошел бы и сдался милиции,— прямо сказал Дупчур, когда тот сел рядом.

— Нет, брат, ты меня не уговаривай. Сейчас уже поздно. Сначала я сам тоже думал об этом. Но... Но теперь эти мысли оставили мою голову.

— Подумай еще раз. Ну, убил ты человека. Как ни крутишь, все равно понесешь наказание. Ведь есть же закон, над ним не взлетишь, из-под него не выползешь. И, наконец, у тебя есть народ, перед которым ты должен повиниться,— сказал Дупчур и, докурив трубку, добавил:— Вчера к нам снова приезжали милиционеры. И сколько ты будешь бегать, как шальной волк?!

Конгар заколотил землю кулаками и зарыдал:

— Нет! Никуда! Не могу!.. Совесть не позволяет. Ты-то хоть это пойми, если брат мне!..

— А твоей совести легче бегать от людей? Да, ты заступился за честь своей жены. Наш закон суров, но справедлив. Всем известно, что Балчыр мог и тебя убить. Подумай о девочках, о жене...

Оба надолго замолчали. Савраска, преданный хозяину, подошел к Конгару и положил ему на плечо голову.

— Больше я сюда не приеду, Конгар. Все, что хотел тебе сказать, сказал. Совесть моя перед тобой чиста. Поступай как знаешь. Я поеду. Дома ждут жена, дети, скот...— Дунчур поднялся с места.

Конгар даже не пошевелился.

Дунчур решительно шагнул к своему коню. Уже сел в седло, когда услышал отчаянный голос Конгара:

— Брат, подожди! Не оставляй меня! Я — с тобой.

Он не повернулся на его слова. Не торопясь, поехал. Но слышал за собой приближающийся топот копыт. И на душе у него стало легко и радостно.





Александр ШОЮН

ОТЦОВ ПОДАРОК

(Р а с с к а з)

Поздним вечером отец вернулся из райцентра с туго набитым портфелем. Дело было под Новый год. Мать куда-то ушла, и маленький сын сам встретил отца. Справившись, куда ушла мама и скоро ли придет, отец загадочно улыбнулся:

— Отгадай, сын, что я тебе привез. А?

— Наверное, фломастеры.

— Пальцем в небо попал.— рассмеялся отец.— Они уже у тебя есть. Бери повыше.

— Книжки с картинками?

— Нет. Их у тебя тоже много.

— Тогда грузовую машину. Ведь я давно ее хочу.

Отец, погладив сына по голове, открыл портфель и медленно стал вытаскивать сверток за свертком, насвистывая тувинскую мелодию «Декей-оо». Мальчик сгорал от нетерпения, срешил волосы, не спускал глаз с портфеля и наконец сдался:

— Ладно. Все равно не отгадаю, что ты привез.

— На, держи! Вот тебе мой новогодний подарок.

Мальчик осторожно взял маску с волчьим оскалом, поверачивал ее и так, и этак.

— Значит волка привез.

— Да. Мама отгрохает тебе такой костюм, что закачаешься, а я у знакомого охотника попрошу настоящий волчий хвост. Сам Дед Мороз ахнет и будет с тобой выплясывать вокруг нарядной елки.

Мальчик задумчиво слушал отца.

— Тебя в этом костюме никто не узнает.

— Правда, не узнают? — сомневался мальчик.

— Никому и в голову не придет, что это ты. Давай проверим.

Мальчик надел волчью маску, которая ладно сидела на его голове, и завертел головой.

— Шолбан! Представь теперь волчий костюм на себе...

Разговор был прерван громким лаем собачки, до сих пор мирно лежавшей на полу.

Дворняжка Мойнак, черный, как уголек, беспородный, малюсенький кобелек, была Шолбану большим другом. Они всегда бегали вперегонки, отнимали друг у дружки рукавичку, и песик каждый день встречал маленького хозяина, когда тот возвращался из садика.

Но, увидев волчью маску на Шолбане, Мойнак бросился к двери с громким лаем. До этого он сам умел открывать дверь, а тут она ему не поддавалась. Мойнак завизжал и попытался в угол, видно, совсем перепугался песик.

Шолбан решил поиграть с Мойнаком. Покачивая головой в волчьей маске, он двинулся к нему и по-волчьи завыл.

Мойнак с визгом запрыгнул на диван. Шерсть дыбом поднялась на спине дворняжки, она от испуга вздрагивала всем телом, но готова была отчаянно бороться за свою жизнь.

Отец сдернул с лица Шолбана волчью маску:

— Пойми, сын, он твой верный друг, а ты его незаслуженно обидел. А ну-ка, приласкай его! — сказал отец.

Шолбан виновато протянул к песику руку, но Мойнак, даже не взглянув на него, спрыгнул с дивана и снова оказался возле дверей, всем своим отчужденным видом предупреждая: «Не подходи ко мне».

— Учти, сынок. Мойнак тебя может и возненавидеть.

— Шолбан я, — обратился мальчик к собачке. — Понимаешь, это я — Шолбан. Ты же видишь, что я не волк, а это — лишь маска, игрушка такая. Ну, мой маленький дружище!

Дворняжка ощерилась, и снова шерсть дыбом встала на ее спине, а глаза налились кровью. Вдруг Мойнак присел на задние лапы и долго безотрывно посмотрел на мальчика. Шолбан нежно глядел на песика. Что-то изменилось в черной мордашке собачки, а в глазах появилась почти человеческая тоска.

— Мойнак, дружок мой, прости меня!

В голосе Шолбана звенели слезы. И мальчик снова двинулся к песику, но тот от него отскочил.

— Крепко обидел ты его, сынок! — сказал отец, открыв собачке дверь.

Мойнак стрелой выскочил на улицу. Шолбан, поглядев вслед любимцу, сел прямо на пол, опустил голову на грудь и горестно вздохнул:

— Папа! Я потерял друга. Как мне быть?

Мальчик молчал, а слезы, как крупные капли дождя, стекали по его щекам.

— Будь мужчиной!— сказал отец.

Он взял под столом старую эмалированную мисочку Мойнака, наполнил ее супом, положил косточку.

— На, отнеси Мойнаку. Может, еда отведет от тебя его немилость.

Через недолгое время Шолбан вернулся обратно.

— Папа! Собачка убежала от меня,— печально сказал мальчик и поставил миску на место.

...Время шло. Мама вернулась. Мойнак почему-то ее не встретил радостным лаем, а Шолбан непривычно тихо сидел на диване.

Родители о чем-то тихо переговаривались на кухне. Шолбан не знал, куда себя девать. Вдруг его рука коснулась чего-то. Это была волчья маска.

— Папа!— закричал он.

— Что тебе?

— На, возьми эту противную маску. Она мне не нравится.

— Чем же она плоха?

— Она меня разлучила с любимым песиком. А если я надену эту маску на Новый год, то меня возненавидят все: воспитательницы, нянечки, ребяташки.

— Шолбан,— увещевал отец мальчика,— успокойся. Ты что, забыл как шустро барыню плясал Дед Мороз в прошлом году вместе с зайчиками, волками и медведями. Любо-дорого было смотреть. А как папы с мамами смеялись!

— Правда, все пели и хохотали.

— Ну вот, чудак ты мой! Деду Морозу в костюме волка ты очень понравишься. Ты же знаешь, какая наша мама мастерица и выдумщица! Она тебя так замаскирует, что все знакомые тобой любоваться станут.

— Почему же Мойнак так перепугался? Может, и в прошлый год собаки так же отнесли к своим хозяевам — к волкам да медведям?

— Нет, Шолбан!— вмешалась мама.— Наш Мойначок неожиданно волчью маску принял за живого врага.

— Папа! А долго Мойнак на меня будет сердиться?

— Возможно, он уже отошел от испуга. Маску маме отдай.

На повогодней елке живых собак не будет, а люди порадуются маскараду.

Через некоторое время Мойнак поскребся в дверь. Отец впустил собачку в дом. Мойнак осторожно подошел к мальчику и долго-долго смотрел на него. И тут случилось чудо: Мойнак встал перед ним на задние лапы, а передними быстро-быстро замахал. Мальчик опустил перед своим дружком на колени и, вытащив косточку из миски, пежно вложил ее собачке в рот.

Примирение состоялось.



Борис ЧЮДЮК

ТЕНЕК-КАРА

Да-да, именно так звали в народе Хомушку Чамбала за его богатую силу, неунывающий нрав, за смелость его, нередко граничащую с безумием. Ему все было нипочем, когда он вступал в борьбу за справедливость, на защиту простого арата от злобных феодалов. Старые были тогда времена, черные времена...

«Черный дурак». Теперь-то я понимаю, что прозвали Чамбала так на манер известных русских сказок, в которых неунывающий Иванушка-дурачок выступал героем, всегда побеждающим зло. Сказочные герои у всех народов, думаю, одинаковы.

Чамбал и говорил-то каким-то особым языком — сказочным. Его речь была густо пересыпана пословицами и поговорками, блистала народной мудростью.

— Имя тебе дал я,— частенько говаривал он, усмешливо глядя на меня, тогдашнего четырехлетнего карапуза.— «Как Амзырай богатым будь, как Айдын-Чудук богатырем будь!»— такое напутствие есть в народе. Когда ты родился,— ласково щелкал он меня по носу кончиком пальца так, что из глаз выступали слезы,— я перебрал много имен и остановился на имени Айдын-Чудук. Оно во всех отношениях соответствовало тебе, удалец! Так что ты мой должник. Когда ты мне долг вернешь?— после таких слов он заразительно смеялся.

В предгорьях Шуйского хребта много долин. В одной из них, в местечке Дондээ-Одек, зимовал наш аал из пяти юрт. Среди них небольшая черная юрта, не отличающаяся ни особым богатством, ни особой бедностью, принадлежала Тенек-Кара. Я дружил с его внуком Сузуксем. Зимними вечерами

мы любили забегать к старику. Его небольшая юрта, изнутри вся увешанная заячьими шкурами, так и светилась тихим гостеприимством.

Такое впечатление, будто юрта одета в заячий тулупчик.

В женской половине юрты сидит наголо остриженная бабушка, пояс ее халата сделан из заячьих лапок. Когда она встает, лапки приятно перестукиваются, как погремушки.

Тенек-Кара, накинув на плечи полушубок из козьих шкур, сидит обычно у очага, погруженный в свои думы, и тихо напевает или исполняет каргыраа. Лицо его очень выразительно: широкий лоб покрыт глубокими морщинами, в старческих, часто моргавших, глазах отсвечивает огонь очага, когда-то прямой и высокий нос его, к тому времени потеряв форму, заваливается на один бок.

Завидев нас, он оживает и начинает заигрывать с нами, строя разные гримасы. Таким образом развеселив нас, задает несколько вопросов. Если мы не находим ответа, он говорит: «Малы еще, ума не набрались, раз узнайте и завтра мне скажете». Если мы отвечаем правильно, то он искренне радуется и говорит: «Молодцы, подросли уже малость. Женушка, дай-ка мальчишкам каъдык»,— и смеется своим обычным веселым смехом.

Как только мы получаем вкуснейшую кашу, приготовленную из живородной гречишки, смех и веселые разговоры разгораются пуще прежнего. Чамбал начинает задавать нам новые загадки, которых он знает бесконечное множество. Мы стараемся отгадывать быстро и отвечаем наперебой, стараясь опередить друг друга.

Но были и такие загадки, которые ставили нас в тупик и от которых мы вынуждены были, надув щеки, сидеть и беспомощно моргать глазами. Запомнились такие: «С ходом дзиньдзинь, с гостинцем двумя мешочками», «Выпал снег на горе высокой Кангай, выпал гвоздик из казачьего седла...»

Если так и не находим ответа, старик нам говорит: «Обязательно отгадайте, и завтра мне скажете». Затем поправляет свой полушубок на плечах, глубоко вздохнув, начинает петь каргыраа:

Коли я родился одиноким,
Был бы гордый, как ястреб.
Крутые вершины своих Шуев
Оглядывал бы острым взором.
Коли я родился одиноким,
Был бы гордый, как орел.
Над извилистой родной рекой Хемчик
Парил бы, любясь ее просторами...

Иногда он закидывает нас пословицами: «Войлок растягивается, человек вырастает», «Вырастает копь из жеребенка, человек из малого ребенка», «Времена меняются — попопа обновляется». И снова продолжает свои интересные рассказы. Так мы незаметно приобщались к устному народному творчеству.

В один из таких вечеров, огладив свою бородку, Тенек-Кара потрогал большой шрам на своей лысой голове и, поморщившись как от боли, сказал: «Когда-то здесь была коса. Вот эту самую косу чиновник рода Хомушку Сотпа со своей женой прямо с корнем вырвали — за то, что я охотился в его владениях. И нос мой пострадал тогда же, когда он упирался погой в него, чтобы оторвать косу...— Затем показал он нам свои ноги, на которых глубокие шрамы свидетельствовали о страшных пытках, когда-то учиненных над ним.— А эти следы оставлены Манчы-Мээреном. Он обвинил меня в том, что я проезжал по его священным землям... Но я этих чиновников так просто не оставил. Вот как я им отомстил. У чангы Сотпа толстая черная коса, вырванная мною, упала на подол его жены, и он горько заплакал от боли...

А Манчы-Мээрен, когда я опять проезжал по тому месту, начал стрелять в меня. То ли поугагать хотел, то ли на самом деле застрелить,— не знаю. Я тогда страшно рассердился, терять мне было нечего: ни братьев, ни сестер, ни, тем более, детей у меня не было, и я тоже открыл огонь. Слышу, Мээрен перестал стрелять. Думаю, куда он делся? Подъезжаю к его юрте и заглядываю внутрь: он с женой лежит под кроватью и дрожит со страху. Я заставил его дать клятву, что такое больше не повторится,— он лизал языком отверстие ствола моего ружья. С тех пор между Чангыс-Тереком и Ала-Белигом араты стали проезжать свободно!

Нынешнее наше время не сравнить с тем, прошедшим, когда феодалам было дозволено все, вплоть до убийства простых аратов. Прошло то время. Установилось новое, которое защищает простых аратов. Вот так, кайгал-удалец!»

...Много воды унес Хемчик с тех пор. Вот уже и моя собственная старость перешагивает порог моего дома. Но этот человек до сих пор восхищает смелостью и справедливостью, готовностью всегда прийти на помощь нуждающимся. И я благодарен ему за то, что он сыграл определенную роль в моей жизни, что с детских лет помог понять, полюбить песни, сказки, изречения родного народа.

ЕЛКА В ЛЕСУ

(С к а з к а)

На берегу могучей сибирской реки Енисей, в небольшом городе, жила-была маленькая девочка Айдаша.

Однажды она с родителями поехала в гости к бабушке. А бабушка жила в горах, пасла овец и ангорских коз. Айдаше очень понравились козлята. Кудрявые, с шелковистой шерстью, маленькими рожками, они кричали тоненьким голоском: «Ме-э-э, ме-э-э». Айдаша целый день пасла их на лужайке, возле леса.

Однажды к ней подбежал маленький серый зайчик и сказал:

— Здравствуй, девочка. Хочешь, будем вместе играть?

— Добрый день! Меня зовут Айдаша. Во что же будем играть?

— Я умею прыгать и играть в прятки.

— Хорошо. Я умею играть в резинку, хочешь научу?

Они натянули резинку между пенечками и стали прыгать, но зайчик запутался в ней и сказал грустно:

— У меня лапы длинные, не получается.

— Ну ничего, давай лучше будем играть в прятки.

Так они играли и резвились каждый день.

Вот и осень пастает, Айдаше в школу пора:

— До свидания, я приеду в канникулы.

— Присезжай, только обязательно!

Айдаша пошла в первый класс. Учительница спросила:

— Ребята, кто может написать слово «Мир».

— Я могу,— сказала Марина, но написала две буквы М и Р и тихо сказала:— А среднюю букву забыла, как писать.

Учительница обратилась к ребятам:

— Кто же знает эту букву? Кто поможет Марине?

Тогда подошла к доске Айдаша и написала букву «И» и получилось хорошее слово — МИР.

Айдаша училась только на «4» и «5».

Наступили зимние каникулы. Айдаша собралась в гости к бабушке и взяла с собой сестренку Аэлигу. Вот они идут в лес, а под елкой сидит наш знакомый зайчик. Только теперь он был в белой зимней шубке. Очень обрадовались они встрече. Айдаша сказала:

— Мы привезли игрушки, будем украшать нашу елку.

Тут выскочили другие зверята — лисенок, ежик, медвежонок, белка и даже воробышек и ворона.

— Мы тоже хотим украшать елку, — сказали они

— Хорошо. Кто же повесит шарик и рыбки?

— Я! — подняла лапу лисичка.

— А кто повесит орешки золотые?

— Я! — сказала белочка.

Медвежонок протянул гирлянды, ежик поставил под елочку деда Мороза со Снегурочкой, ворона повесила бусы. Воробышек взлетел со звездочкой в клюве повыше и надела ее на самую макушку елки. Звездочка вспыхнула от яркого солнца.

— Ура! — закричали все.

— Теперь Аэлига нас угостит тортом, — объявила Айдаша.

— Ой, как вкусно! — понравился всем торт.

— Давайте теперь водить хоровод.

Все взялись за руки вокруг елки и запели:

Где-то елка на опушке

одинокая росла.

А теперь на ней игрушки

и сосульки из стекла.

Топ-топ, сапожок —

хорошо кружиться.

А на елочке снежок

чистый серебритя...

Вот какая славная елка была в лесу!





Александр ДАРЖАЙ

ПЛАЧ ИГИЛА

(П о э м а)

Часть первая

Мелодия гуся-сироты

На берегу реки, у поворота,
сидит понурый парень-оборванец
и тихо трогает струну игила,
увенчанного конской головою.

Уселось раскрасневшееся солнце
в седло могучих гор — и там застыло:
забыло, что закатываться нужно,
заслушалось мелодией печальной.

Притихли речки вспененные волны —
ни ропота, ни шенота, ни плеска.
И ветерок, обычно шаловливый,
в густые травы спрятался куда-то...

А на просторах меж землей и небом
схватились жизнь и смерть в жестокой битве:
на приотставшего от стаи гуся
летит стрелою кровожадный ястреб.

Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегающая...
Плачет игил. Мелодия голоса —
неутешимо, надрывно стенающая.

Плачем гусь-сирота изводится:
тень над душою — черная, властная.
Ястреб жестокий над берегом носится.
А над протокою — небо ясное.
Гром, от которого дыбятся волосы.
Молния, купол небес стегаящая...
Плачет игил. Мелодия голоса —
неутешимо, надрывно стенающая.
Ястреб — нацелился, ястреб — стремитель,
ястреб внимателен — до упоения...
Жалобен плач сироты и пронзителен:
просит у ястреба, бедный, прощения.

«Ястреб всеильный, птица проворная,
падающая с высоты,
не убивай от стаи оставшего!
Не обижай сироты!

Перья белые осыпаются
от острых твоих когтей.
Солнце в глазах моих угасает —
жизнь мою пожалей!

Я заблудился, ищу сородичей
возле прибрежных скал.
Не разлучай меня, ястреб, с озером,
где я, резвясь, нырял.

Если не тронешь ты сиротинушку,
жизнь подаришь ему —
не умереть среди птичьего племени
имени твоему.

Стану в небе летать я весело
в стае своей родной.
Не убивай меня, ястреб, миленький...
Смилуйся надо мной!»

Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегаящая...
Плачет игил. Мелодия голоса —
неутешимо, надрывно стенающая.
Небо перьями заволочено,
эхо в логах и отрогах носится,

уж не видать сироте края отчего,
а он и мертвый — все просит, просит все...
Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегающая...
Плачет игил. Мелодия голоса —
неутешимо, надрывно степенаящая.
С седла упало солнышко красное —
в провалы, в пропасти, в бездны черные.
Вздыбилось тучами небо ясное,
волны пошли — как быки разъяренные.
Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегающая...
Плачет игил. Мелодия голоса —
неутешимо, надрывно стенающая.

Сказание об игиле

Записано от Комбу Чан-ооловича Ооржака
проживающего в селе Алдан-Маадыре Сут-
Хольского района.

Там, возле устья Ишкина,
где валуны, как коровы,
стояла невзрачная юрта
юноши Оскус-оола.
С ним жил отец одряхлевший...
Коза — вот все их богатство.
Что ели они? Что придется.
Чай пили незабеленный.
Но жил Оскус-оол, не плакал:
верней — не показывал слезы.

Весной у его господина
погибла при родах кобыла.
«В овраг жеребенка! Не стоит
возни!..» —
приказал повелитель.

Бедняк пал табунщику в ноги
и выпросил жеребенка —
слабого, необсохшего,
не гревшегося на солнце.
И — спас жеребенка-сиротку,
поил молоком его козым,
кормил его мягкой травой.

срываемой у аржаана...
И вырос его жеребенок —
и стал конем белоснежным,
на лбу — с отметиной черной,
и прозван за то Белоснежкой.

А вскоре пошла в степи слава:
стремителен бег иноходца —
никто обогнать не способен
его — даже птицы и ветер.

Задумался злой повелитель:
откуда сокровище это
у бедного Оскус-оола?
И слуги ему рассказали...

Пришло время праздновать наадым.
Как водится, были скачки.
Считалось, что лучшими будут
там лошади властелина.
Но сразу вперед устремился,
подобно стреле, Белоснежка,
а в клубах взметнувшейся пыли
оставшие долго блуждали.

Задумался вновь завистник:
что делать? Украсть Белоснежку?
От глаз его острых не скроешь,
от злых языков не спасешься:
пойдут по степи разговоры —
богач обокрал бедняка, мол.
А золотом рты не закроешь,
и не замажешь им уши.
Купить Белоснежку? Пытался.
Да Оскус-оол тут ответил,
что в мире ценней всего дружба,
а друга продать он не может...
Измаялся важный чиновник
своей надоедливой думой;
есть-пить перестал и бессонно
мечтал об одном дни и ночи:
лишить все же Оскус-оола
любимца его — Белоснежки.

А слава об иноходце
летела быстрее иноходца.
И стал Белоснежка известен
на севере и на юге,
на западе и на востоке —
езде, где садятся в седла...

Тогда-то богач решил:
«Убить Белоснежку надо!»
И нанял людей без чести,
прельстив их серебряным звоном
и золотым сияньем,
завистливый тот чиншник.
И темною ночью однажды
бесчестные окружили,
стреножили Белоснежку
и в пропасть коня столкнули.

И долго носилось эхо
его прощального ржання:
покуда луна не скрылась,
не вышло красное солнце...

Беда пришла к Оскус-оолу.
Три дня он искал и три ночи
езде Белоснежку-любимца,
с которым сроднился душою.
Искал его в дебрях таежных,
в степи, возле речки Ишкиша...
И как-то, изнемогая,
в тени тальников задремал он.
И Оскус-оолу приснился
его иноходец любимый.

«Меня злые воры убили!»—
сказал ему по-человечьи
понурившийся Белоснежка,
на облачко чем-то похожий.

«Меня злые воры столкнули
с отвесной скалы,— так сказал он.—
Найдешь мое тело, хозяин,
ты в Красной тайге под утесом.

И если найдешь мое тело,
повесь на сучок того древа,
что крепче других древесиной,
любимый хозяин, мой череп».

«Из дерева этого вырежь,—
промолвил затем Белоснежка,—
игил. Обтяни его кожей,
с щеки моей снятой, плотнее.
И после два волоса крепких
возьми из хвоста да из гривы
и сделай певучие струны,
поющие сами собою.
И сядь возле устья Ишкина
и там заиграй на игиле —
и тут же слетит к тебе с неба
конь рослый, как я, белоснежный...»

Как молвил конь Оскус-оолу,
так юноша бедный и сделал:
игил смастерил звонкогласый
и струны певучие тронул.
И сами собой зазвучали
поющие струны игила,
запели о горькой судьбине,
заплакали о Белоснежке.
А юноша глянул в долину
и видит — великое чудо:
на стойбище в устье Ишкина
несметный табун появился —
как листья осенние, пестрый,
а рядом стоит белоснежный,
прекрасный вожак-иноходец...

Прослышал об этом чиновник
с душонкой завистливой, злобной —
хотел погубить бы табун он,
как прежде убил Белоснежку,
да жила тонка оказалась,
да золота не хватило,
да стали бояться убийцы:
затопчут небесные кони...

Мелодии Оскус-оола
наполнили край благодатный.
На этом волшебном игиле
играл для людей он до смерти.
А умер — оставил в наследство
всем добрым, всем чистым душою
игил свой, его обессмертив:
ведь мир существует, покуда
есть добрые люди на свете,
и песни поются, покуда
есть нежность в душе и любовь.

Часть вторая

Бедняк с игилом

Острроверхие отроги дальней западной вершины
стали все белоголовы — шапки белые надели.
И с хребтов подул в долину обжигаяще студёный,
дышащий зимою лютой, с ног валяющий снежный ветер.
Этим вечером к аалу, пригибаясь против ветра,
подошел усталый путник в прохудившейся одежде.
И, ища куда приткнуться, обогреть худые кости,
оказался во дворе он, преобширном и богатом.
Он «Амыр!» промолвил с чувством, открывая двери юрты,
и просторной, и богатой белоснежной юрты бая.
И спокойно занял место у вещей каких-то кучи,
сел на корточки привычно, поудобнее у двери.
А жена чангы привстала, с отвращеньем посмотрела
на вошедшего и грубо, раздраженно проворчала:
«Ты забыл, наверно, парень: есть и в черной юрте двери.
Так зачем скрипишь ты нагло дверью юрты белоснежной?»
«Я, — ответил путник тихо, — приустал и заблудился.
В темноте и не заметил: бел иль черен юрты войлок.
По аалам все брожу я и играю на игиле —
и повсюду, где бываю, обогреют и накормят».
«Тронь тогда струну игила, спой о том, что наболело.
Я послушаю, мне в юрте ныне скучно, одиноко —
муженек в хошун уехал, а служанок отпустила», —
молвила агай и села ближе к очагу, чтоб слушать.
Трогая струну тихонько, чтоб настроиться на песню,
парень глянул на хозяйку и припомнил вдруг, что было:
«Ты ли это? Потускнела. Подурнела. Ожирела.

А была, как ива, гибкой, быстроногой, краснощечкой.
Я, за овцами гонаясь или в сайзанак играя,
с наслаждением тайным слушал голос твой серебровозный:
Чтобы стать женою бая, жить в богатстве и довольстве,
ты со мной легко рассталась и об этом вряд ли помнишь.
И, живя уютно, будто почка в жирной оболочке,
ты свою давно забыла — черную, в заплатах, юрту.
Ладно, слушай песнь игила — друга с конской головою,
что меня ни в зной, ни в стужу — никогда не покидает.
Только сможешь ли понять ты, разобраться в том душою,
что тебе игил наплачет, что моя расскажет песня?»
И запел игил, заплакал нежным голосом девчонки —
той, что бегала когда-то у притока Улуг-Хема.
И запел он так, что жарче полыхнул под чашей хворост,
зарыдал он так, что ярче пламя юрту осветило:

остались там, за холмами.
пьянящие запахи можжевельника —
прохладный чайлаг, покинутый нами,
«Колыбель моя Адыр-Бажы,

Устье крошечного Ак-Хема,
где аржааны звенели,
и камушки — мы в сайзанак играли —
тоже осиротели.

Слышишь ли птицы Баа-Сарыг
голос чарующий, звонкий,
что возвещает приход весны
в нашей родной сторонке?

ты о любви говорила?
как, под березкою сидя со мной,
ярко солнце светило,
Помнишь ли, как на полянке цветов

Ты от него не устала?..»
Счастье ли — жирное мясо жевать?
все вспоминать перестала?
Помнишь? Иль, проданная за коня,

Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегающая...
Плачет игил. Мелодия голоса —
неутешимо, надрывно стенающая.

Плачет о том, что прошло и не сбудется:
стошет турпай над погибшей подругою,
по верблюжонку тоскует верблюдица,
путник блуждает, обманутый выугою,
птица с крылом перебитым терзается,
все вспоминая про небо бездонное...
Плачет, рыдает игил, мукой мается —
многоголосое горе, стозвонное.

И агай вскочила с места! Непонятно, что с ней случилось,
по ее зарделись щеки и глаза вдруг засветились,
и струиться стали слезы по щекам, и вдруг вскричала
к путнику: «Мерген!»— хозяйка и умолкла, тихо плача.
Но сидел тот, как и прежде, будто ничего не слышал,
и легко и нежно трогал струны верного игила.
И агай к нему взмолилась: «Спой, Мерген, еще немного!
Расскажи о том хотя бы, как отец мой поживает!..»

Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегаящая...
Плачет игил. Мелодия голоса
вновь раздаётся, надрывно стенающая:

из аала в аал. О-о-о!..
Отец твой — нищий, голодный — ходил
ураган растерзал. О-о-о!..
«Черные, продымленные юрты наши

В овраге волки задрали
единственного его коня. А-а-а!..
Ослеп твой отец от горя,
кормиться стал у меня. А-а-а!..

Водил я, став для него глазами,
по аалам отца твоего. О-о-о!..
Девять дней мы что-нибудь ели,
а потом дня три — ничего. О-о-о!..

Когда ты в тепле почивала,
ела мясо из казана. А-а-а!..
Он умер. Его могила —
Сесеге северная сторона. А-а-а!..

Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегаящая...
Плачет игил. Мелодия голоса —

неутешимо, надрывно стенающая.
Так — плачут дети о том, что не сбудется,
стонет турпан над погибшей подругою,
по верблюжонку тоскует верблюдица,
путник блуждает, обманутый выюгом,
птица с крылом перебитым терзается,
небо бездонное вспоминающая...
Плачет игил. И никак не кончается
песня, тоскливо, надрывно стенающая.

И агай тут зарыдала, с криком: «Нет отца родного!»
и сознание потеряла, рухнув там же, где стояла.
Замолчал игил. И стало в юрте ненадолго тихо:
все умолкло, лишь скулила, словно пес, за дверью выюга.
Вскоре голову, однако, чуть приподняла хозяйка
и глаза свои протерла, и привстала, и присела
вновь туда же, где сидела, и, вздохнув, сказала грустно:
«Если б мой отец любимый тут внезапно оказался,
я его бы отогрела, напоила, накормила.
И тебя я понимаю: тяжело тебе, бедняга —
юрты нет, аала — тоже... Проведи-ка здесь всю зиму —
будешь в нашей черной юрте поживать тепло и сытно...»

Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегающая...
В юрте богатой — мелодия голоса
вновь зазвучала, надрывно рыдающая:

«Я разве собака — голодная, глупая,
что жадно хватает кость?
Да где это видано, чтобы поющему
посмешищем стать пришлось!

Уж лучше жить в шалаше!
Но понял теперь я: не ты — моя милая.
осталась живой в душе.
Доныне бедная юная девушка

с поднятою головой...»
и лучше уйти из юрты обидчиков
уж лучше хевек*, да свой,
Чем жирное мясо жевать униженно,

* Высевки, отруби — прим. редактора.

Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегаящая...
Плачет игил. Мелодия голоса —
неутешимо, надрывно стегаящая.
Льется и льется песня печальная...
Скоро ли, скоро ли будет веселая?
Разве что где-то откликнется дальняя
песня игила — счастливая, новая,
разве что чистое небо зарадужит —
солнце, как гусь золотой, в нем заплещется,
разве что сердце утешится каждое,
каждый турпан одинокий утешится...
Ну, а покуда — страдание голоса,
боль от разлуки — неутихающая...
Гром, от которого дыбятся волосы,
молния, купол небес стегаящая!



Куулар ЧЕРЛИГ-ООЛ

Где боль, там и поэзия. Так я думаю.

Я родился в снежную пургу на дороге. С тех пор все время в пути. С колыбели убаюкивала меня народная песня, подростком впервые почувствовал пленительную силу слова. Позднее уразумел главное: жить чаяниями и болью народа — вот назначение поэта.

У меня дома, на стене, рядом висят портрет Пушкина — бога поэзии и хомус — символ тувинской музыки. Пока Пушкин со мной, пока хомус поет — будут звучать и мои стихи.

ТЫ НОСИЛА МЕНЯ НА СПИНЕ

(Баллада о матери)

1.

Мама носила меня на спине...
Легкая на ногу,
как в табуне молодом кобылица.
Я жеребенком вязался за ней,
чтоб беззаботно играть и резвиться.

Я подрастал,
но в аале, один,
все не хотел оставаться

и неотвязно за мамой ходил —
звал у песков,
ждал у воды...
Мама носила меня на спине.
И благодарней той памяти нет.

В народе я слышал,
что шар земной
матери мира несут на спине,
в холод несут и в зной,
себе отказывая
в пище и сне,
в радости
самой обычной, земной...
Жизнь на Земле, по преданьям веков,
вскормлена белым их молоком.

Матери моей
давно не стало.
Косточки ее перемешались
с белыми камнями в тех песках...
Поцелуй ее остался на глазах.
Поцелуй... Да памяти
божья коровка
подползет —
и вспомнится мамина сноровка.
Как меня высоко,
к солнцу,
поднимала,
шила, кожи мяла,
кошмы ли катала —
не уставала.
Шла, словно порхала,
чтоб траву не мять,
да вот не сумела старость обогнать.

Бабочки ночные над травой порхают.
Может, то лопатки мамины мерцают.
Может, это мама,
в темноте ночной,
охраняя сына,
вьется над землей.

Если заблужусь я в омуте ночью
(иногда случается такое с чабаном),
бабочки ночные мне укажут путь,
память,
как дыхание мамы,
обогреет грудь.

Ах ты, степь ковыльиная
среди спящих гор...
С песней материнской
я вышел на простор.
И меня по жизни,
как челнок, несло.
Руки материнские были мне
веслом.

2.

Я у деда спросил,
почему старики
на лопатках бараньих гадают?
Дед глаза опустил:
— Расскажу. Только то,
что от дедов и прадедов знаю.

Однажды кочевал аал,
а на пути река,
с водою, вздутой половодьем...
в аале том
ламá ученый проживал,
но лишь богам дано ходить по водам,
ламá же — смертный, как все мы,
слуга,
посредник в обращенье нашем к богу.
И не унять молитвами ламы
речное буйство на порогах.
Он это знал
и сумку с сутрами
к спине козлиной привязал.

Может быть, мудрость козлу помогла:
не зря же в отарах козел — поводырь.
Может быть,
легкая,

словно надутый пузырь,
с сутрами сумка спасла,
только... и скот, и домашний весь скарб
бурная речка на дно унесла,
людям оставив лишь детище скал
с книгой святой на лопатках — козла.

Тушу козла поделили араты —
голод не тетка —
но изрекли:
— Слушайте, мясо с козлиных лопаток
поровну надо на всех разделить —
книга святая лежала на них.

Трубка дымилась и гасла не раз.
Дед продолжал преданье-рассказ.

— Годы и дни над землею кочуют,
снег уступает жаре и росе,
но до сих пор
поверье бытует:
«Все мясо с лопатки
нельзя
одному человеку съесть».

3.

Белую лопатку,
как бумаги лист,
рассмотри внимательно —
и на ней,
под узором выющимся,
ляжет жизнь —
радости и беды
матери твоей.

Приложи лопатку белую
ко лбу.
Вдумайся, смежив
плотнее веки —
есть ли тот,
кому свою судьбу
передашь ты
на пороге смерти?

Две лопатки — это два весла,
с ними плыть по жизненным просторам.

Мама на спине меня несла.
И она мне до сих пор
опора.

НА ПУТИ ДОМОЙ

Над камнями красно-бурых гор
небо — словно синее стекло.
Белое, как в небе облака,
мама варит в чаше молоко.

Мама ждет меня издалека.
День назад, курлыча, журавли
в наш аал, как драгоценный дар,
теплый вешний ветер принесли.

Гребнем глядя серебро волос,
мама знает — я уже в пути,
над весенней радостной землей
самолет сверкающий летит.

— Здравствуй, долгожданный край родной.
белые вершины мудрых гор,
темнота нехоженной тайги
и степей распахнутый простор!

* * *

За высокие горы,
покинув меня, ты ушла.
Я не помню причин
этой глупой и мелочной ссоры.
Я брожу на вокзале,
оставив людей и дела.
Ведь, покинув меня,
ты ушла за высокие горы.

Раньше было бы проще:
через рыжую степь
на горячем коне,
словно вихрь, пролететь.

Расплескалась коса
на сквозном ветерке —
плачешь ты, одинока,
на веселой реке.

Лишь бы искорку неба!
Я тебя все равно догоню.
Между нами бездонность.
Между нами бездонная нежность...
Словно в прятки играешь.
А я не играю — люблю
и прошу у судьбы
только искорку чистого неба.



Светлана КОЗЛОВА

Прежде всего и всегда я — журналистка. А работа журналиста — это дороги и встречи с людьми. Может быть, не все так романтично, как представлялось в юности: «разъезды, расспросы, листки блокнота...» Впрочем, и в Туве, и до Тувы, когда была написана процитированная здесь строчка, я знала повседневность журналистики: дежурства по номерам газеты, правку читательских писем. И ведь каждое письмо — это тоже встреча с человеком. И все это отражается в стихах. Оттого и представляемую здесь подборку я озаглавила так:

ДОРОГИ, ЛЮДИ, ГОРОДА

Путь к коммунизму

(Подмосковье, 1952 г.)

Ф-фу... Грязища-то!.. Платье — хоть выжми,
даже шарф порыжел и промок.

До колхоза «Путь к коммунизму»
километров еще — ну, пяток,
недалёко...

Да только дождина,
по колено разбухла глиной
вся дорога — шагнешь да и стой.

Да из лесу еще, чин-чином,
неприятный какой-то вой...
Пахнет шерстью от юбки волглой.
Брызги липкие на косах...

До деревни совсем недолго,
ну, на что тебе нужен страх?
Хуже глины он свяжет ноги,
упадешь — так попробуй, встань...
Да гони ты его с дороги,
эту дрянь!
Ну, а если выползет снова
из канавы, исподтишка —
отхлещи его метким словом,
песней ошпарь бока.
В мешанине глины и мрака
встань, спокойная, в полный рост...

Страх визжит побитой собакой,
поджимая общипанный хвост.

Что, теперь веселее станет?
Песни хлещут дождем через край...

Посмотрела: письмо в кармане.
Ну, ступай.
И не строй из себя героя:
дескать, столько дорог и гор...

Не проверить письмо такое —
был бы просто позор.
Что кричать: коммунизм, мол, эпоха —
кто об этом еще не писал!
В колхозе «Путь к коммунизму» плохо.
Это уже четвертый сигнал.

Над дорогой, тучей косматой,
прочь отползает темень...

Поставки по высшей норме — девятой,
а урожай у них небогатый
и отставание — временное?
Председатель, пьяный и сонный,
в сводках в сотню раздует грош,

представители из района
не желают пачкать калош,
и по этой дороге бугристой,
и весной, и сейчас, под осень,
комсомольцы и коммунисты
письма на станцию носят...

Так иди, увязая в глине.
Ничего, дойдем — не померем.
Ты ведь тоже стала отныне
и агитатором,
и главарем.
Ну, а если ты — агитатор,
это, значит, как надо жить?
Это значит — идти куда-то,
объяснять,
обличать,
учить.
Сквозь дождя мутноватую призму
ты сумеи вперед заглянуть...

Ты ведь знаешь:
путь к коммунизму —
не простой и не близкий путь.

Глаша

Рассказ милиционера

(Кызыл, 1961 г.)

Не так давно, году в пятьдесят первом,
мы двух преступников в тайге искали.
По совести, повымотали нервы,
устали.

И, наконец, наткнулись на жилище:
обычная охотничья избенка.
Старик, до глаз заросший бородишей,
и хмурая, невзрачная девчонка.
Меня в ней все, признаться, удивляло:
и робость при отце, и крест на шее,
и то, как птицу влет она стреляла,
нежданной красотою хорошея...

А было ей, примерно, лет двенадцать.
Спросил, где мать — молчит, не слышит будто...
И в школе не пришлось ей заниматься:
молитвы знала да немного — буквы.

С отцом охотничала. И не то, чтоб...
Но не чуралась и мужской работы.
Не знала даже, что такое «почта» —
но в высоте видала самолеты.

Я ей рассказывал — она внимала.
Внимала! Вот такой в глазищах голод!
Ну, а в словах не выдала нимало,
что хочется ей в школу... Или в город...

Но тозовка с оптическим прицелом
ей показалась настоящим чудом,
и Глаша попросила, осмелела:
— Винтовку дай — и я уйду отсюда...

Как было мне отказывать неловко!
Ребенок же... Игрушку, что ли, жалко?..
Мол, не моя, казенная винтовка,
и мы сюда пришли — не на рыбалку...

И тут отец — тихонько, в бородищу
(без бороды, поди, меня не старше):
— Ты,— говорит мне,— парень, там ли ищешь?
Вон падь — ступай!..

...И тех двоих, уставших,
как загнанных, еще до перевала,
нагнали мы. И взяли. Повязали.
А золота при них — как не бывало:
куда девали — так и не сказали...

И десять лет прошло...
Нет, правда — десять?
Не верится. Хотя, конечно, знаю:
у самого как раз такие дети,
какой была охотница лесная.

Что случилось с ней?
В ту сторону с тоскою
всегда гляжу — и на душе тревожно.

Пропил он золотишко воровское,
ее отец? Или — украл надежно?

Все так же он сдает, с победным видом,
настрелянную дочь пушнину?
Да нет... Давно, должно быть, замуж выдал,
такого же, как сам, нашел мужчину...
И что? Смирилась со своим уделом?
Молитвы помнит, буквы — позабыла?..

Да, десять лет прошло.
Давно, выходит, было.
А все мне кажется,
не так я что-то сделал.

Зачем я рассказал?
Могу ответить.
Я — коммунист.
Мне ихний бог не страшен.
Но нет спокойной жизни мне на свете,
пока не встала рядом с нами Глаша.

Бич

(Тайшет, 1972 г.)

Исходя патужным «черным» кашлем,
он лежит на кафеде вокзала.

— Этот?

Бич,
ночевщик наш всегдашний, —
так в медпункте мне сестра сказала, —
шастают такие по Сибири,
по вокзалам да в вагонах спят...
Хоть бы их, заразу, истребили!..

Кашлящему — за пятьдесят,
Изможденный
водкой и годами,
дремлет он на кафельном полу
и не чувствует своих страданий...

Кто он?
Просто пьяница и плут,
ищущий поживы
(только дай кто!) —
и готовый,
не жалея лжи,
молодым
травить лишне байки
про свою загубленную жизнь?

Вор?
По тюрьмам сроки отсидел он,
не привыкнув
к честному труду?
Не пожом ли в потасовке «сделан»
застарелый
шрам через губу?

Ну, а если — не пожом?
А если
это — след скользнувшего штыка?
Не о нем ли
складывали песни?
Не ему ли
памятью — века?

На скупой площадке
привокзальной
штык, белея,
прорезает тьму —
памятник,
суровый и печальный,
сверстникам его —
по не ему?..

Медсестра вокзального медпункта
наклопила голову слегка:
— Может быть...
Болтали здесь, как будто...
Я сама...
Вот видите — рука?

Искалеченной рукою левой
попыталась воздух разрубить,

резанула
тоном королевы:
— Все равно — одна зараза —
бич!..

Слышать он не мог.
Но эта гордость
видно, отразилась,
как ожог:
«бич» поднялся
и, привычно горбясь,
торопливо
к выходу пошел...

Что теперь мне оставалось?
Спорить?
Пустоту
живой рукой рубить?..

Хлещет сердце
горькое, как совесть,
дикое, чужое слово:
«бич».

Картинка с выставки

(Москва, 1982 г.)

Прозвенели два дога медалями.
Два подростка их гордо вели
и победные взгляды кидали: мол,
вот вам лучшие доги земли —
не из тех, с подозреньем на бешенство,
что скулят, домогаясь костей,—
чистым золотом доги увешаны
от загривков почти до когтей.

Человек впереди чуть прихрамывал.
Деревянно не гнулась нога.
Но светились торжественно-храмово
два неновых его сапога.
Доги, вытянув шеи медальные,
обоняли сиянье сапог.
— Фу!— сказал им подросток. И далее
двух красавцев повлек поводок.

Человек поглядел на них пристально
и — сквозь них — в позабытую даль.
На груди чуть блеснула единственная,
с темным контуром танка, медаль.
Он к скамейке шагнул: — Я присяду? —
и, когда повернулись к нему, —
К сыну ездил. Сын принял присягу, —
пояснил, неизвестно кому,
и умолк.

Что он думал? О времени?
О наследниках — детях Земли?

...Как два идола песьего племени,
как два бога — два дога прошли.

Хола Бухора

(Бухара, 1984 г.)

Хола Бухора —
тетушка Бухара:
синий халат,
шаровары цветные,
теплые тапочки расписные,
белой повязки до пят бахрома —
хола Бухора...

Золотом и лазурью одеты,
тянутся к солнцу твои минареты,
их обливают глазурью жара —
хола Бухора...

Как ты была щедра
в горькие годы, военные годы,
к детям бездомным любого народа,
сколько дала им тепла и добра!
Хола Бухора...

Что же теперь так упрямо замкнулись
переплетения узеньких улиц, —
взору, и то не пройти вглубь двора?
Ох, Бухара...

Много воздали экзотике дани...
Женщина
на вокзале
в Кагане —
разве она тебе не сестра,
хола Бухара?

Из Вологодщины белолицей
женщина едет к афганской границе —
в госпиталь едет,
чтоб с сыном проститься,—
слышишь ли ты, Бухара!

Дай ей от слез у хауза омыться,
соку из гроздей янтарных напиться —
горек ей ныне и твой виноград,
хола Бухара...

Пахнет песками и порохом ветер...
Поезд ушел.
И бегут за ним дети —
девочка, тонкая, как минаретик,
смотрит на солнце
из-под рукава.

Вторая встреча

(Самагалтай, 1986 г.)

Писала о нем?
Конечно, писала.
Не могу ошибиться.

Тогда на земле человека не стало.
А этот вот был — убийца.
Как пристально вглядывалась тогда я
в его мрачноватый облик,
надолго задумывалась, гадая:
из «трудных» он
или — подлых?..
Сказать не могу,
что жестоко слишком
тогда поступили с ними...

Но годы прошли.
И он -- не мальчишка.
И помнит он мое имя.
И тот разговор —
столько лет, как пачат! --
продолжен теперь неожиданно:
берет он в руки баян, и плачут,
и плачут мехи баяна.
Кого оплакивают?
Того ли,
кого и не знал он толком?
А может, о гиблых годах неволи
сейчас завыл бы он волком?
Не знаю...

В сопровожденье баяна
мой голос звучит над залом.

И он неприязни не выдал явно,
и я ничего не сказала.
Вот так.
Обернулась дуэль — дуэтом,
концертным номером — мщенье...

А лезвие — в спину.
А строки — в газету.
И нет никому прощенья.

Дежурство по номеру

(Кызыл, 1987 г.)

Вычитываю полосы газеты.
Мои — ни строчки: все про урожай.
Меня немножко раздражает это:
страда страдой — культуру уважай!
Не стоит забывать и о подростках —
в них будущее, что ни говори...

Пыль на полях с зари и до зари.
Найди тут время на такую роскошь!..

Сижку, читаю. И встают из строк,
где оттиск бисерно округл и черен,
вечерний — там, над скошенным — парок,

и зной дневной, и запах спелых зерен,
соломенный слепяше желтый блеск
и лиственничный дух
от стен жилого стана —
густой смолистый дух,
которым дышит лес
на грани поля,
на краю, том самом,
откуда утром наплывет туман
и пыль прибьет,
и в поле, не прогреетом,
комбайны засверкают алым цветом,
как вызов синим тучам и громам...

Вычитываю полосы газеты.

Еще не отпечатаны клише,
то там, то здесь — прямоугольник белый,
но я-то их увидела уже
и лица комбайнеров разглядела,
усталые, в полове и в пыли,
и в них узнала тех мальчишек малых,
которым в школе я стихи читала —
года прошли, ребята подросли
и армию прошли, и вышли в поле,
где жаркой пылью порохит страда...

А где еще один? Он пел тогда,
так славно пел на сборе в сельской школе!
Уехал в город? Учится? Но нет:
В кабине, на стекле, горячем, ломком,
я замечаю маленький портрет —
по краю снимка черная каемка...
Вон оно что!..

А с третьей полосы —
международной —
опахнет «афганцем»...
Там бой идет. И снова чей-то сын...
А тут... А ты...
Вниманья мало — танцам?..

Поймешь иного, для кого не в счет
вся наша «индустрия развлечений»:
огонь, тайфуны, смертные мученья,

и тяжкий труд, и всюду -- кровь и пот,
и ужас — в перспективе гибель мира,
к тому же и загробной жизни нет...

А ты — про фестиваль!
Как весело и мило!
Кому он нужен?!

Только на момент
я усомнилась в том, что несомненно:
нельзя в беспечной черноте кружить,
а надо строить
и готовить смену,
и песни быть должны,
и танцы, непременно —
все для того,
чтоб победила жизнь.
Чтобы сверкала радужным рассветом
вся многокрасочность,
вся многогранность дня...

И правда к людям шла.
Через меня.
Вычитываю полосы газеты...



Владимир СЕРЕН-ООЛ

«Кто хочет понять поэта, должен отправиться в страну поэта», — сказал великий Гете. Хочется, чтобы у тех, кто прочтет наши стихи, возникло желание побывать в Туве. И чтобы, увидев наш прекрасный край, они не могли сказать, что на такой замечательной земле живут плохие поэты. Сама природа родной Тувы, дух ее народа обязывают нас писать хорошо.

ПРИЕЗЖАЙТЕ!..

После долгой разлуки
вернусь я в родимый Овюр.
Здесь мои одноклассники
так же, как в детстве, встречая,
мне расстелят ширтек
у порога родительских юрт,
сварят мясо и хан
и нальют ароматного чая.

Их руками возделаны
южные склоны Танды,
берег озера Успа,
что был для меня колыбелью...
Как говаривал Чацкий,
нам сладок Отечества дым,
а успехи друзей
для меня — молодящее зелье.

Вот уж слух обо мне
к отдаленным стоянкам проник...
В юрту мамы моей,
у горы Морту-Тей, по соседству,
соберутся друзья!
Нас подхватит река Торгалыг
и к вершине Дус-Дага доставит,
из юности в детство.

Черт возьми,— не пора ли
седому соседу узнать,
как мозги мне крутила
его непутевая дочка?
Шепчет на ухо друг:
— Как Отелло, ревнив его зять,—
осторожнее будь,
не делись с ним секретом, и — точка!

Мы готовим шашлык.
— Эй, друзья мои с дальних сторон!
Вы — с Кавказа, Байкала,
Алтая, Невы, Прикарпатья,—
прилетайте в Туву!
Приезжайте в Овюрский район,—
сенокосная рань
примет вас, моих названных братьев.

Мать нальет молока нам.
Доверьтесь отцовским коням,
и давайте поскачем,
покуда коса не запела,—
чтоб высокое чувство
тоски по родимым местам
в наших, братья, сердцах,
как река Торгалыг,
не мелело!

ТРИ КАМНЯ В ОЧАГЕ

Издревле так повелось: арат,
охотясь в тайге, у ручья или речки,
делал привал и, отдыху рад,
ставил три камня подобно печке.

Нас было трое: товарищ мой,
я и ровесница наша, соседка.
Мы не спешили вернуться домой.
И ночевали в тайге нередко.

И закипал ароматный чай.
Вытянув губы, его мы пили.
В «печке» три камня я замечал —
и на привале втроем мы были.

Молвила спутница:— Рухнет котел
без трех камней, ведь двух ему мало.
Я же добавил:— Когда бы ушел
кто-то из нас, всем труднее бы стало.

— Но ведь расходятся в жизни пути:
из двух парней кому-то, когда-то,
рано иль поздно, придется уйти,—
с грустью товарищ сказал виновато.

И разговор, и огонь поугас.
«Да, так и будет, увы, в самом деле»,—
думал в молчании каждый из нас.
И три звезды — «маралухи» — летели.

ТАЙНА

Я имя твое сохраняю от людей.
Ни днем, ни вечерней порою,
ни другу, ни матери старой своей
его я вовек не открою.

С другим ты. Как поздно увиделись мы,
как трудно без рук твоих милых...
Разводишь очаг ты средь белой зимы,
Да только согреться не в силах.

А мне от тебя не уйти, не уйти,
от грусти мне некуда деться.
Звездой ты мне светишь в нелегком пути...
Тебе лишь открою я сердце.

О жизнь! Моей тайны, прошу я, не тронь,—
а сам я ее не нарушу.
И тайной любви неприметный огонь
сумеет согреть мою душу.

ВЕРНОСТЬ

Моя любовь светлей огня
и глубже моря-океана.
А коль забудешь ты меня,
тебе во сне я снится стану.

И пусть ты будешь вдалеке —
примчусь я песнею тревожной,
а поплывешь ты по реке —
веслом я сделаюсь надежным.

Ты так похожа на зарю,
но на зарю, что пышет жаром,—
я в этом пламени сгорю
и буду знать, что жил не даром.

Со мной любовь моя и честь,
моя в тебя святая вера.
Пусть знают все, что верность ест,—
моя любовь тому примером.



Поэзия — моя жизнь.

С тех пор, как помню себя, меня окружали поэтические образы: заснеженный темный лес, завывание за стенами чума бури, бурные потоки весеннего половодья, песни жаворонка в знойном небе...

Песни и частушки сородичей в сенокосную пору, длинные сказки в зимние вечера заменяли в моем детстве радио и телевизор. Потом на слуху появились чудо-стихи А. Пушкина, Т. Шевченко, С. Сарыг-оола, С. Пюрбю.

Стараюсь, чтобы поэтические строки выражали душевное состояние человека, отражали его прекрасные деяния, время, в котором он живет.

С ЗЕМЛЕЙ ТУВЫ НАВЕК СОЕДИНЕН

Тува,
не рай твоя земля,
но ей всецело предан я.
Как кедр,
я мощью корневой
соединен навек с тобой.

Как солнце, можешь ты,
как мать,—
мне душу лаской согреть.

Тува,
в стране советской ты —
частица вечной красоты.

На жизнь счастливую права
ты мне доверила, Тува.
Сокровищем в себе храню
любовь священную твою.

Но если враг когда-нибудь
рискнет на край наш посягнуть,—
не дрогнем мы в тот грозный час!
Мир на земле — вот цель у нас.

Тува,
я — преданный твой сын.
Ты — мой источник новых сил.
И не отыщет недруг меч,
чтоб от тебя меня отсесть!..

Поэзия — афористична, в каждом афоризме — поэзия. Убежден, поэтический образ, как драгоценный камень, созданный природой, не нуждается в длительной шлифовке. Достаточно одного-двух штрихов искусного мастера — и камень заиграет всеми своими гранями.

НЕЗАКОННО

Увидев блеснувшую ложь,
воскликнул он удивленно:
— Ложь — это тот же нож,
хранение лжи незаконно.

* * *

Я все давно тебе простил.
Я все давно уже упростил.
И потому уже нет сил
к тебе ходить ночами в гости.

К тебе ходить. Сидеть. Молчать.
Ненужно чай тянуть остывший.
И беспощадно понимать:
что ты любим, но ты любивший.

ПЕСНИ

Я никогда не пел песен,
но я знал девушку —
она пела
каждое утро.
А вечером говорила,
что любит.

Не знаю,
было ли это счастьем —
вчера я видел ее с другим.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Без чувств —
мир пуст.
А тишина —
страшна.

Когда проснусь,
убьет она.

В ФЕВРАЛЕ

Затоплю я печку в феврале,
чтоб теплее стало на земле.

Буду жить за городом на даче.
Буду счастлив так или иначе.

Будет Бунин на столе лежать.
На руке моей ты будешь засыпать.

Будет на душе твоей светло.
В феврале...
Не помню лишь число.

ХОЛОСТЯК

Придет.
Откинет прядь со лба.
И на диван упрямо сядет,
чтоб оценить,
чего же ради
ее безумствует судьба.

Он чай на скатерть разольет.
Подвинет к ней поближе чашку.
И нужных слов не подберет
в своей неглаженной рубашке.

РАЗГОВОР

— Давай придумаю я гул
идущей вдалеке машины.
А ты мне скажешь:
— Обманул
опять без видимой причины.

— Давай придумаю!
— Молчи!—
И выдернешь со злобой руку.
Вдали машина пропылит,
Да только не услышать звука.

Прошла машина. Не вернуть.
Ну что ж, такая наша доля.
— Давай придумаю, чтоб путь
прошел наш через это поле.

Вот мы. Вот поле. А вот жизнь...
Махнешь с обидою устало:
— Да ты хоть раз «люблю» скажи,
чтоб я хоть сердцем понимала...



Артык ХОВАЛЫГ

Разные люди воспринимают стихи по-разному.
Единственное желание: чтобы пропустив через свое сердце мои строки, люди стали мудрее, честнее, добрее... Буду рада, если хоть одна строка из множества достигнет цели. Что толку от них, если они будут пылиться на книжных полках? Один стыд...

* * *

Могуч талант луча!
Коснется лишь слегка —
и станет золотой среди камней река,
и радуга встает, лаская цветом взор,
и серебром горит морозных зим узор...

О, дай мне свой талант,
моя природа-мать,
чтоб красоту земли смогла я воспевать.

* * *

В созвездьях, горящих в ночной вышине,
влюбленного сердца частица пылает...
Пусть в солнечный день в небе звезд не бывает —
Вселенная звездами светит во мне.

Во мне светит солнце, хоть тучи нависли
и падают капли
слезою моей.

А голову вновь переполнили мысли,
неся в себе мощь и глубины морей.

Степан САРЫГ-ООЛ

КЛАРА ДОНЧИ-ООЛ

1.

Что пред тобою рук людских творенья,
веками созданные изваянья?
Живая легкость, риск преодоления
и смелость — все в твоём послушном стане.

Глаза твои — они ясней восхода,
яснее летней утренней зари.
Как нежный чёрный шелк, бровей разлеты
на лбу твоём парят. И ты паришь.

Лицо оттенка спелого ореха...
То охлаждаешь пылкость строгим взглядом,
то улыбнешься — яркая арена,
чаруя, расцветет весенним садом.

На высоте, под куполом, над бездной
не рыбка ли речная заиграла?
В такт музыке, зовущей, звонкой, медной
на проволоке ты танцуешь, Клара!

Обрызганная блестками фольги,
ты — хариус, дитя таежных рек,
ты — ива на ветру... Но вот — разбег —
и вижу соболя, дитя тайги!

2.

Я сказку детства своего смотрю.
Тепла желанного душа напьется,
приблизившись к горящему костру
искусства девушки-канатоходца.

Все замирает немотою. Все,
от сердца до суставчика мизинца.
Как будто идол Будды вознесен,
а я — монах и рад ему молиться.

Дитя ли человека там, над ветром,
над высью? Нет. То пролетает белка
по ветке старого раскидистого кедра.
То ласточка крылом сверкает мельком.

И это дивное создание.
лицом подобное цветам,
вступив в поэму властно, станет
высокой героиней там.

Арена в темноте давно пуста —
я не могу уйти за всеми следом.
Клянусь: пусть вечно мне не видеть света —
душа моя тобою не сыта.

3.

В сказанье древнем я когда-то слышал
о девах мудрых, величавых, стройных.
Старик-сказитель пел о счастье высшем.
Войди в сказанье. Ты его достойна.

Дни темного, прожитого убого,
беспомощного детства далеки:
тогда молился с верою глубокой
живой богине — Белой дариги.

Живой, земной богиней вижу ныне
прекраснейшую из моих землячек:
нет, не с небес спустилась к нам богиня —
в моем дворе росла, играла в мячик.

Волшебница! Искусства яркий блеск.
твое раскованное мастерство
сказаний превосходит волшебство,
мудрее всех придуманных чудес.

4.

Надменную Европу и Восток
ты покорила танцем необычным.
Выплескивали звонко свой восторг
ладони зрителей, ко многому привычны.

Переговаривались удивленно:
— Смотрите, дочь степной Тувы — Мадонной,
из сердца Азии, ветрами напоенной,
взошла над публикою ослепленной!

В Австралии далекой не успели
ладони жаркие у зрителей остыть.
Улыбки Франции веселою капелью
звонят, сливаются в сверкающую нить...

И земляков зачаровала. Тишь
рассветных гор поет восточной сказкою...
Не по канату пожками скользишь —
меня по сердцу гладишь ласково.

* * *

К. Е.

Твой чистый взгляд проникнет в сердце мне,
как ласки и покоя добрый вестник.
Мне, как хомус, твой голос в тишине
о счастье и любви слагает песни.

Ты в платьице простом и безыскусном,
я вижу твой девичий, гибкий стан.
Как друг, всем помыслам моим и чувствам
ты даже внешним обликом близка.

Нет, не касались краски губ и щек,
бежишь ты этой красоты заемной.
Ты — как степной цветок, наивный, скромный,
правдивый, мамин ласковый цветок.

Про все свои нехитрые заботы
с такой горячностью и так охотно
расскажешь. Твой звенящий голосок,
не отрываясь, слушать бы я мог.

Тебя, простую, славную,— как счастье,
воспеть, придумать лишь с большим трудом
возможно. Если это мне удастся,
я возгоржусь, не мучаясь стыдом.

Не изощряясь и не восхваляя,
скажу одну лишь правду я о том,
как вспомню о тебе и представляю,
что гостем я вхожу в твой теплый дом.

Я милой женщины пишу портрет.
Пишу ее такой, как в жизни вижу,
и тем, что в нем изысканности нет,
надеюсь, что тебя я не обижу.

Так стан твой тонок, так идешь легко —
невольно каждый встречный обернется
и восхитится красотой кос,
как черный шелк, сверкающих на солнце.

На нежной шее вьющийся пушок —
в мечтах я только мог его касаться.
Но если б я погладил этот шелк —
до смерти вспоминал бы, как о счастье.

Твои глаза! В них столько доброты.
Они ведут меня, как звезды ночью.
Ты так по-детски искренне хохочешь,
что видно: помыслы твои чисты.

Твоя улыбка! Столько в ней тепла
и нежности, что в моем бедном сердце,
отчаявшемся ласкою согреться,
надежда на мгновение ожила.

Но знаю я, ты мне однажды скажешь:
«Мне стыдно, дяденька, твоих похвал.
Ведь ты ко мне не прикасался даже.
Никто еще меня не целовал».

* * *

С. Б.

Как могло это все сохраниться!
Не смогла ее жизнь огрубить.
Все в глазах ее черных таится
та же юная верность любви.

Все природа сумела воздать ей
от добра, красоты и тепла.
Вся она — ожидаенье объятий.
так близка, так добра и тепла.

Ей, Севили, красавице юной,
в годы давние жизни моей,
написал я ей, дочке Сюрюна:
«Стань частицей души и согрей».

Получил бы тогда я согласие —
всему Хемчику зятем бы стал.
Нет — так с горькой надеждой на счастье
холостяцкий свой век коротал.

Все же радуюсь я, открывая
в своей памяти в прошлое дверь:
если б не было этого, знаю,
я бы не был так счастлив теперь.

* * *

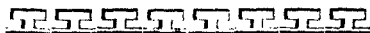
К. Н.

Неужто наш угрюмый Кара-Даг
с его морозами, с его ветрами
обжег лицо девичье, словно пламя,
и на щеках остался навсегда?

В расцвете красоты необычайной
раскроется лесной цветок напчи —
так ты прекрасна, милая Натпит.
Да, повстречаться бы нам ночью тайной.

Но дочки у тебя и сыновья,
и не пошлешь теперь сватов с дарами.
Так погляди спокойно на меня
и одари улыбкой и словами.

Ты радости и дружбы дар, Натпит,
мне на тебя смотреть — не насмотреться...
Услышу голос твой — и кровь кипит,
а радость успокаивает сердце.



Вячеслав ТИМОФЕЕВ

ИНФЛЯЦИЯ СЛОВА

(Мысли вслух)

Среди ночи меня разбудил продолжительный телефонный звонок.

— Здорово, старина, черт тебя возьми!— слышимость была на удивление хорошей, а голос — жизнерадостным и настолько громким, что его, наверное, слышно было в подъезде. Я вздрогнул, отвел трубку от уха примерно на метр и только после этого немного успокоился. Я уяснил, что звонят из другого города и эта луженая глотка кого-то напоминает, но спротонок никак не мог взять в толк, кого именно.

Между тем весело настроенный абонент продолжал кричать так, будто в ожидании разговора не спал трое суток:

— Это Волобуев говорит, узнал? Митька Волобуев из Благовещенска! У нас уже скоро утро, а у вас? Мы тут в преферанс дулись, с коньячком-с, и мне стало хорошо. Вот я и решил тебе брякнуть как лучшему другу. Не ожидал? То-то же! А я о тебе всегда помню, старая ты галоша! И в доказательство скажу: у меня подвернулся отпуск недельки на две, так я решил махнуть к тебе. Вылетаю завтра — билет уже в кармане. А заодно привезу долг. Так что жди в аэропорту в семь вечера. Привет семье!

На другой день в аэропорт я не поехал.

И правильно сделал, потому что Митьку Волобуева давно знаю как человека, который относится к категории людей, именуемых в народе свистунами.

Задатки свистуна в Митьке начали формироваться еще тогда, когда его приняли в октябрята и он нацепил на грудь

звездочку, по поводу чего Волобуев-старший глубокомысленно сказал:

— Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. Трудиться будешь?

— Бу-у-ду.— Митьке было все равно, будет он трудиться или нет, к тому же малый совершенно не представлял, чем должен заняться в качестве октябренька. Но Митька твердо усвоил одно: отцу ни в коем случае перечить нельзя, иначе можно заработать лупцовку с помощью ремня или без оного, так что лучше держаться от греха подальше — пообещать то, чего требует суровый, как дед Каширин, родитель.

— А хорошо учиться?

— Бу-у-ду.

После этого разговора дни набегали в месяцы, а месяцы — в годы, и с очередной попытки второгодник четвертого класса Митька Волобуев стал пионером. В связи с этим событием родитель вспомнил очередной афоризм, кочующий в школах из поколения в поколение:

— Пионер, как мне помнится, всем ребятам пример.— И спросил:— А ты почему такой?

— Какой?

— Да вот такой!— Волобуев-старший потряс потрепанный дневник перед носом Митьки.— Ты погляди, что здесь классная руководительница пишет: «Ваш сын всегда много обещает, но никогда слова не держит. Ему ничего не стоит обмануть одноклассников и учителей». Вот до чего ты докатился! Это когда-нибудь кончится?

— Больше я так не буду, честное пионерское.

«Честное пионерское» Митька произносил впоследствии по любому поводу, особенно в те моменты, когда ему приходилось туго. Но, посулив, скажем, исправить «двойку» на «тройку», Митька редко когда делал это в срок. Или вообще не делал. А повзрослев, часто препирался с отцом, который недоумевал:

— Восемнадцать лет балбесу, а ума — как у курицы.

— Сегодня же часам к восьми вечера найду свой ум, не переживай. Найду и принесу.

— Ты не скалься, как юродивый! — вскипал отец.— Когда на работу пойдешь?

— Своевременно или несколько позже.

И все же проходную завода Митьке пришлось переступить, когда ему стукнуло девятнадцать (в армию он не попал из-за значительного плоскостопия). Мы с ним работали в одном це-

хе, в ту пору он и одолжил у меня на три дня сто рублей и собирается отдавать их вот уже пятнадцатый год.

Со временем наши дороги разошлись, и сотню эту я, что называется, списал, хотя нередко в ней очень нуждаюсь. Втайне я надеюсь, что у Митьки «своевременно или несколько позже» проснется совесть и он вернет мне десять червонцев. Но, судя по всему, этого не случится никогда.

Суть не столько в этих рублях, сколько в нравственной стороне дела. Я убежден: Митька наверняка вышел из доверия и в Благовещенске, и вряд ли кто-нибудь принимает его слова и обещания всерьез.

А ведь Митька не одинок. С такими, как он, мы сталкиваемся чуть ли не ежедневно. Об этом говорит и редакционная почта: обещали сшить полушубок в течение месяца — сделали это через год, притом с карманом на спине; посулили разобраться с квартирным вопросом за неделю — затянули на два года; в начале пятилетки говорили о том, что худые крыши домов в четвертом микрорайоне Кызыла будут залатаны — по сей день весной и в дожди в квартирах замечается беготня и возня с тазами и ваннами; заверили улучшить водоснабжение на улице Красных партизан — волынка тянется до сих пор...

Этот перечень можно продолжать долго. И, что примечательно, авторы некоторых писем настойчиво требуют усилить борьбу с обещалкиными и бюрократами — надо-де наказывать их сурово, вплоть до разлучения с должностью.

Надо, разумеется, но ведь нет сейчас откровенных чинуш. Нынче, как правило, жалобы и письма под сукно не кладут и в долгий ящик не заталкивают. Непредусмотрительно это: неприятности можно нажить. Зачем рисковать? Можно ведь, что и делают тонко чувствующие ситуацию свистуны, и заинтересованность изобразить, и что-то похожее на рвение проявить. Правда, это напоминает игру на дуде вместо обещанного выступления струнного оркестра, но на такие детали уморенные беготней посетители не обращают внимания. Им важно довести дело до конца или хотя бы до определенной точки.

Заходит, например, такой посетитель в большой кабинет руководителя. Его встречают приветливо, в перлоновое кресло усаживают. Иногда даже курить разрешают, невзирая на то, что борьба с курильщиками идет общенародная. Слушают посетителя, поддакивают ему, задают вопросы. Одобряют его хорошие идеи. Руку подают на прощанье и при этом говорят:

— Подумать надо. Прикинуть возможности. Поговорить

кое с кем, в том числе с вашим непосредственным начальником Кукушанским. Загляните, пожалуйста, через неделю, если вам не трудно.

Принимают раз, принимают другой, успокаивают, в разные инстанции бумаги отправляют. Сроки приемов между тем удлиняются, и нетерпеливый посетитель с удивлением обнаруживает, что в стенах большого кабинета начинает неприлично заикаться, по-рыбьи судорожно глотать воздух и паливаться нехорошим румянцем.

А чего, собственно, заикаться? Чего волноваться? Пришел сегодня — заглядывай завтра... Заглянул завтра — забегай через недельку. Забежал через недельку — наведывайся в следующем месяце... Плохо тебе, что ли? Приветливо встречают, в кресло усаживают. Курить в кабинете можно. Ходи и ходи.

Впрочем, волокитчики и свистуны в наше время имеют самое разное обличье. Знал я директора совхоза, о котором люди сказали бы: «ни бэ, ни мэ, ни кукареку». Неизвестно, чья властвующая длань посадила его на руководящий стул, но через пару лет стало ясно, что хозяйством он управляет так же, как чабан — подводной лодкой. Он назойливо пытался вникать в дела, всем надоедал, совал нос во все щели, хотя это занятие в его обязанности вовсе не входило, вопил и размахивал руками. Зато в райкоме партии, где его разносили в пух и прах, тише и покладистее его, пожалуй, невозможно было найти. Он скорбно вздыхал, будто тащили в гору воз, и, как нашкодивший школьник, согласно кивал головой, похожей на недозревшую тыкву.

Терпеливо выслушав всю причитающуюся ему критику, директор начинал свое выступление с признания, что все сказанное правильно и еще раз правильно, затем долго перечислял намеченные мероприятия и всегда заканчивал постылую речь словами: «Позвольте заверить...» И облегченно вздыхал до следующего раза. Но «разов» этих за четыре года восседания на руководящем стуле накопилось столько, что все заверения стали восприниматься с сомнением. А он, как всегда, молотил свое: «Позвольте...» Пока, наконец, ему не сказали: надоело! Хватит болтать.

С того дня он где-то затерялся, но спустя несколько лет я опять увидел его... на трибуне. И, само собой, он мямлил обещания, как проповедник с евангелием — зауспокойную молитву.

Они как поплавки: тонут и вновь всплывают, проваливают

дело, проваливаются сами, но, глядишь, снова карабкаются на какой-нибудь пост.

Год с лишним назад в кабинете одного руководителя треста я стал свидетелем следующей сцены.

— Слушай, Мироныч, выручай,— скорбно вещал управляющий в телефонную трубку, словно собрался помирать прямо за рабочим столом.— Горю синим огнем, а друзья и знакомые спокойно наблюдают, как я догораю. Без огня — заметь. На тебя одного, Мироныч, надежда... Что ты сказал? Ближе к делу? Могу и ближе. Такие, значит, дела: мой трест полмесяца сидит на мели — состав с цементом потерялся где-то между Курганом и Абаканом, следов не найдешь. Я отправил по станциям ходока, и в скором времени состав должен быть в Минусинске. Но дело в том, что этот состав мог затеряться где-то между Омском и Владивостоком. А мог угодить в Кызыл-Орду — такие случаи бывали. Тогда мой ходок пропадет бесповоротно. Он уже пропадал таким образом неоднократно, за что не раз заслуженно наказан и работал три сезона в районах вечной мерзлоты. Однако мужик настолько пробивной, должен тебе заметить... Опять ближе к делу? Хорошо, буду ближе: одолжил бы ты мне тонн шестьдесят цемента, а? Ходок привезет — верну с довеском. Как не верну? Да чтоб я в колодец провалился! Чтоб на меня завтра кирпич упал! Чтоб...

Но Мироныч остался глух к мольбам: его не волновали ни канализационный люк, куда мог ухнуть и покалечиться руководитель треста, ни кирпич, который, без сомнения, помял бы ему не только прическу.

Не верил Мироныч управляющему. И поступил, как я чуть позже понял, справедливо.

Когда управляющий положил трубку, в кабинет боком зашел юркий мужичонка предпенсионного возраста и с ходу бухнул:

— Тут я набросал проект решения будущего собрания. И кое-какие вопросики появились. Надо бы решить.

— Тэк, тэ-эк,— барином раскинулся в кресле управляющий, который пять минут назад был униженным попрошайкой.— Вопросы мы мигом расщелкаем, как орешки, хэ-хэ! Какие там вопросики? Выкладывай.

— Первый — насчет дома. Самый, скажу, каверзный.

— Это насчет какого дома?

— А того, который вы пообещали сдать к маю прошлого года.

— Что на улице Траншейной?

— Сдачу дома на Траншейной мы перенесли на следующую пятилетку. Я говорю о восьмидесятиквартирном. На улице Земляка Кривоножкина.

— Ах, об этом! Ну и что?

— Как «ну и что»? Вы же зимой прошлого года с трибуны заверили: к маю, дескать, хоть кровь из носу — а дом сдадим. В грудь себя били.

— Мало ли в какое место я себя бил? Все течет — все меняется.

— Дак ведь в том доме нашим рабочим двенадцать квартир полагается. Что мы им скажем?

— Скажем, что обстоятельства изменились. И квартиры они получат своевременно или несколько позже. Обстоятельства, братец, сильнее нас. Они гнут нас в дугу и выют из нас веревки, мнут нас в лепешку, но мы тверды, как скала. Вот в данный момент у нас не имеется ни грамма цемента, рабочие второй месяц дуются в карты и разобрали в магазинах все домино. А я стою, как та скала. Почему я спокоен? Потому что из-за стечения обстоятельств состав потерялся где-то между Курганом и Абаканом. Чем прикажешь, братец, заменить цемент, а? Глиной, что ли? Я перед тобой вопрос ставлю! Молчишь?..

— Глиной, конечно, плохо... А что же все-таки скажем насчет дома?

— Добавим к сказанному, что нас подвели под монастырь поставщики. Заодно другие, — управляющий начал загибать пальцы: — Нас подводит, во-первых, комбинат «Стройдеталь», во-вторых — все транспортные предприятия, вместе взятые, в-третьих, — вышестоящие организации. А систематическая нехватка кадров, а их низкая квалификация? Всего этого тебе мало? Да с такими козырями я любому министру нокдаун сделаю!

Забыл управляющий жизненное правило: не слово должно быть при нем, а он — при слове. Забывчивость эта с годами переросла в самомнение, а безнаказанность за головотяпство — в собственную незаменимость и неуязвимость. И теперь он поступает со словом, как пожелает: захочет — пообещает, захочет — возьмет обещание назад. Сотни, тысячи заверений и клятв такого и ему подобных пустословов не стоят ломаного гроша. Произошла обесценка, инфляция слова.

Что же получается в итоге?

Нередко обязательства, взятые в начале года тем или иным коллективом, не выполняются. Пусковые объекты об-

растают такими «бородами», что после нескольких срывов предпочитают о них помалкивать. Громкие рапорты о завершении задания в конце месяца иногда оказываются липовыми — план дотягивают в начале следующего месяца с помощью приписок и всякого рода махинаций. И получается, что от прекраснодушной болтовни до очковтирательства и преступления — один шаг.

Зачем же тогда сотрясать воздух, сместить порядочных людей? Нельзя ли лучше придерживаться и всегда следовать четкой формуле: «Взвесил возможности — обязался — сделал»? Бесхитростная, казалось бы, формула, но многие на нее махнули рукой: чего, дескать, мудрить — как-нибудь выкрутимся. В случае чего, мол, можно сослаться на «объективные» причины, на суровые погодные условия, благо природа безропотно снесет все наши поклены на нее. Ну, а если эти ссылки не помогут, со спокойной совестью можно смешать с грязью поставщиков. Один знакомый инженер говорил по этому поводу так: «Мы настолько отвыкли быть обязательными в наших взаимоотношениях и так научились сваливать свои беды на смежников, что и концов не найдешь».

Из-за этого заваривается такая каша, которую едва ли кто расхлебает: ежедневно сотни телеграмм мечутся из конца в конец страны, дремлют в приемных и кричат на полу в гостиницах затурканные толкачи, стороны вступают в судейские тяжбы, подключают в спор арбитражи. «Ввиду невыполнения вами заказа напоминаем о необходимости срочного приступления к выполнению...»; «на ваше напоминание о необходимости выполнения заказа сообщаем, что нами принимаются меры по ускорению выполнения»; «подтверждая получение письма об ускорении выполнения заказа, вторично напоминаем о необходимости немедленного приступления к выполнению»; «подтверждая получение вторичного напоминания о необходимости оперативного приступления к выполнению относительно своевременного невыполнения...»

Постойте, товарищи! Оторвитесь от бумаг и немного разомнитесь, ибо вы все равно не соображаете, кто что выполняет и что подтверждает. Протрите энергично виски, попытайтесь встряхнуться и взглянуть на себя со стороны. На кого вы похожи?

А похожи вы на Митьку Волобуева, на директора совхоза под кличкой «Позвольте заверить», на управляющего трестом, долгие годы оправдывающего неудачи «объективными» причинами и ссылками на неразворотливых смежников, и на ряд

других краснобаев, которых не сразу обнаружишь за баяющими слух интонациями и обкатанными, как голыши, формулировками, за обилием цифр и выкладок. Но в какие бы одежды ни рядились свистуны, недуг все равно остается недугом. Природа его — в неумении, подчас нежелании требовательно относиться к данному слову, в невнимательности к людским заботам и бедам, в бесчестности и, наконец, в великой мажорке-лени. А ведь то, что намечено к назначенному сроку, может выполнить и пионер, и закройщик, и директор совхоза, и работник горисполкома — все, вплоть до министра. Для этого не требуется чрезмерного умственного напряжения и дополнительных затрат. Все зависит от порядочности и честности человека — юного или взрослого. Но качества эти чужой дядя нам не поднесет. Они должны быть в каждом из нас.



Трофим ФИЛИППОВ

ПУТЬ В ТОДЖУ

(З а п и с к и в е т е р а н а)

Сегодняшнюю Туву невозможно представить без развитого речного флота. С каждым годом возрастает объем грузоперевозок, осуществляемый им. Особое значение имеет голубая трасса в Тоджу — край лесорубов, оленеводов, охотников, рыбаков. От ее рабочего ритма во многом зависит состояние дел на новостройках республики, ибо Тоджа была и остается основным поставщиком деловой древесины.

Первыми проложили путь в верховья Енисея капитаны Трофим Артемьевич Филиппов, Николай Васильевич Нугис, Михаил Иванович Шикин, Василий Маркович Поздняков, Харитон Поликарпович Молодых, Леонид Сергеевич Плюснин...

О том, с какими трудностями встретились первопроходцы верховьев Енисея, какие перемены пришли на его берега в связи с освоением речного пути, делится воспоминаниями ветеран войны и труда Трофим Артемьевич Филиппов.

Первые рейсы

Память неизменно возвращает меня к одному печальному событию, послужившему толчком для применения катеров на сплаве леса по реке Каа-Хем.

Дело было весной 1953 года. Восемь дюжих парней из Сизимского лесозаготовительного пункта, подрядившихся сплавать плот, при отходе от берега не смогли отбиться греблями от

коварного «бычка» посередине реки. Плот ударил о скалу, крени его лопнули, могучей силой плот, словно солому, перекрутило, и молодые плотогоны на глазах многочисленных провожающих родных и знакомых исчезли в волнах Каа-Хсма.

Силав леса был остановлен. Новостройки молодой советской области буквально задыхались от его нехватки. Было принято решение механизировать силав леса из Сизима. На первый случай предполагалось с помощью катера выводить готовые плоты с рейда, минуя скалистый «бычок», основную опасность для плотогонов.

Первая партия катеров поступила в адрес бывшего тогдашнего облтопа в апреле 1954 года. Это были БМК-90, буксирные маломерные катера с бензиновым двигателем в 90 лошадиных сил. Они имели довольно хорошие, по нашим соображениям, ходовые качества. Малая осадка — до полуметра, приличная скорость движения — до двадцати километров в час, неплохая маневренность, простота в эксплуатации — все делало «бээмкушку», как мы ласково называли катер, незаметным на рейдовых работах с плотами. Поначалу так и мыслилось: направить катер в Сизим в помощь рабочим плотбищ — и только.

До этого я уже плывал три навигации на катере подобного типа, принадлежавшем Тувинской горной экспедиции, и считал себя опытным речником. Поэтому, когда узнал о том, что в облтоп поступили катера, сомнений не было: буду работать на катере.

Приняли меня с охотой, но оговорили особые условия: на всю навигацию пойти в Сизим и там проводить формировку плотов и другие рейдовые работы. Меня это вполне устраивало.

Подготавливать катер к спуску на воду начали сразу после майских праздников. Казалось бы, что тут хитрого: расконсервируй новый катер по инструкции, спусти на воду и — погоняй. На деле все оказалось сложнее. Выяснилось, что на рейдовых работах катер в таком виде использовать невозможно. Он при формировании плотов будет вползать на бревна и подминать их под себя, а это опасно.

И тогда пришла мысль обустроить носовую часть катера навесным упорным крюком, с помощью которого можно было бы упираться и толкать отдельные бревна, ставы, плот.

Опытный в прошлом кузнец Михаил Шикин, новоиспеченный капитан, сразу понял идею и без всяких чертежей в короткое время выковал крюк, помог навесить его на нос катера. Это нехитрое приспособление впоследствии оказалось надеж-

ным и незаменимым в работе. Точно такие же были смонтированы и на других катерах.

Меня с нетерпением ждали в Сизиме, и как только катер был спущен на воду, я сразу вышел на нем в первый рейс. Реку знал лишь до Кок-Тейской переправы, однако и дальше первое время катер вел сравнительно уверенно.

Неприятности начались на том участке Каа-Хема, где река разделялась на несколько рукавов: каким из них идти — попробуй угадать. Часто обманывал довольно широкий и глубокий заход в протоку, но по мере продвижения вверх по течению реки берега ее становились все уже, она мелела и упиралась в тупик. Приходилось, как говорится, поворачивать оглобли назад. Чем больше было ошибок, тем больше прибавлялось знаний о реке. Как при встрече с незнакомым человеком, река не сразу, но все же выдавала свои секреты.

Приспособился. Порой катер приходилось вести у самого берега — под сплошным навесом подмытых деревьев. Проход иногда до того сужался, что невольно приходилось задумываться о сплаве леса. Вверх-то когда идешь, можно сбавить ход катеру, при необходимости приспуститься, не единожды изменить курс. А вниз? Ведь у катера тормозов нет, а тут еще плот своей массой давит — пойдешь попробуй его остановить или повернуть, куда надо...

Вечером второго дня показался Сизимчик — место основного сплоточного рейда. Поселок лесорубов находился в трех километрах от реки, поэтому решил заночевать на катере.

На плотбище у Сизима было тихо, безлюдно. Лишь один бородач, видимо сторож, прохаживался вдоль берега, осматривал рейд, проверял прочность учалки плотов, приготовленных для отправки в Кызыл. Бородач подошел, разговорились.

— Видишь ли, сынок, здесь принято так. Лес сплотят тут, где мы стоим, а потом всем леспромхозом вытягивают плот в о-он туда, в головку, — и он махнул рукой вверх по течению, полагая, что в наступивших сумерках мне все равно не разглядеть того места. — Да ты и сам завтра все увидишь. Ночевать-то где будешь — в катере? А то пойдем ко мне в избушку, — неожиданно пригласил бородач.

За приглашение, отвечаю, спасибо, спать же буду в катере, у меня спальный мешок, к тому же вода в реке идет на прибыль, нужен глаз да глаз.

— Ну, а ужинать-то ужинал? — поинтересовался собеседник.

— Нет,— говорю.— Спешил, в пути варить некогда, подкреплялся где всухомятку, где — с водичкой.

— Да-а. А конь-то у тебя, видать, добрый,— решил продолжить беседу старик.— Ты как вылетел на ём из-за бычка, я, признаться, оробел, думаю, что за нечистая сила. А потом вспомнил разговор мужиков о катере — толком-то не понял, а переспрашивать не стал. А тут и уразумел, об чем был разговор. Выходит, чайку-то на нем не сварить?— указал старичок на катер.

— Нет.

— Тогда пойдем пить ко мне,— и, заметив мое движение, добавил.— Провизии-то не бери, у меня все есть. Считай, што ты мой гость. Посуда тоже есть.

— Чай так чай,— не отказался от приглашения.

Иду следом, а сам думаю: гостеприимство — редкость в этих краях. Старичок, видать, из приезжих. Здешние староверы (раньше приходилось с ними встречаться) так вот запросто в гости не приглашают.

В сторожке топилась железная печурка, было жарко. На деревянной спице, вколоченной в стену, висел фонарь, стекло было изрядно закопчено, и свет едва проникал сквозь него.

— Что ж,— спрашиваю, чтобы как-то вновь пачать разговор,— стеклышко-то сегодня не чистил?

— Не в этом дело, сынок. Вишь, на ём трещинка, а понизу еще и щербинка, вот и коптит фонарь. Стекло хошь каждый час чисти, толку не будет. Да заправляем соляркой, керосину-то нет. Транспорт не ходит, распутица. Интересуюсь, а твой-то «конь» чем питается?

— Бензином.

— И сколь его надо, чтобы докатить до нас?

— До Бельбейской ямы сжег один бак, да из второго — литров двадцать.

— А в бак сколь входит?

— 150 литров.

— Прожорлив, сатана,— промолвил недовольным голосом дед. Он о чем-то снова заговорил, но в этот момент раздалось шипение. Оказывается, я наступил на полено, лежавшее у печки, на конце которого стоял полный чайник. Он опрокинулся, и часть чая вылилась на стенку печурки: шипение пара и заглушило дедовы слова.

Бородач ловко ухватил чайник рукой и поставил его на пол — наполовину он еще был полон.

— Давай вот сюда, на нары,— как ни в чем ни бывало

пригласил хозяин сторожки, набросив на доски чистую тряпичу, смахивающую на скатерть. Из-под нар вытащил берестяной тесок, в котором оказалась сметана, из хозяйственной сумки выложил сало и приятно пахнущие калачи домашней выпечки.

— Подогревать сало или так есть будем?

— Можно и не подогревать.

— Давай и так. Чай — горячий, доварит в животе.

За чаем дед рассказал, что живут они со старушкой ладно, скотина какая-никакая есть, вот только покосы плоховаты: кругом горы, таежка.

— Да вот еще эта оказия,— и рассказчик беспомощно махнул рукой в сторону двери. Через небольшую паузу продолжил:— Проклятый «бычок!» Прошлым летом потонули ребята, жалко — молодые все, двое еще не женаты. Прямо на глазах родных, ох, и жуткая была картина...

— Как же это произошло?

— Видишь, сынок, я тебе давеча сказал, что готовый плот люди затаскивают бечевой вверх по течению. Там он отчаливает от берега, и восемь-десять дюжих парней хлещут гребями по воде, стараясь вывести плот за середину реки. А она, проклятая, прет плот на «бычок»— и баста. И знаешь, токо-токо управляют, с большим трудом отбиваются от «бычка». Проведут мимо него плот и оставляют на ём лишь лоцмана с помощником, а остальные встают на лодку и подымаются той стороной кверху, чтобы проделать то же самое со следующим плотом,— старик помолчал, покачал головой, продолжил:

— Что у этих ребят получилось, никто толком не знает. Или они оплошали, или у них гребь лопнула. Уж больно воды-то много тогда было в реке. Как задурит — ой-ё-ёй!..

Хозяин избушки еще долго сетовал на настырный нрав реки, а потом, как все люди преклонного возраста, без всяких предисловий перешел на другой разговор.

— Как задурит вода — рыбешки не поймашь. А чашечники на устье Сизима перегородят речушку сетями и не дают ходу рыбе на икромет. Вылавливают ее безбожно и нам же продают. Управы, вишь, на них не хватает...

Чаепитие давно закончилось, я уже подремывал. Заметив это, бородач предложил кошму:

— Давай, спи здесь.

— Спасибо, у меня спальный мешок на катере, пойду.

— Ну, мешок так мешок,— слышались ворчливые нотки в голосе старика.— В ём-то, видать, удобней, не выпадешь.

Запинаясь в темноте о бревно и чурки, кое-как добрался до катера. Полоска воды между ним и берегом заметно расширилась.

Ночью не спалось. О корпус катера все время терлась какая-то коряга, издавая неприятный скрежет.

Едва забрезжил рассвет, сошел на берег. Распросив у старика про кратчайшую дорогу, отправился в поселок лесорубов. Женщины уже выгоняли за околицу коров, некоторые доили их прямо на единственной утопающей в грязи и навозе улице.

На мое «Здравствуйте» одни из них отмалчивались, другие нехотя отвечали: «Здорово живешь». Староверский поселок жил по своим обычаям, и по приветствию раннего гостя сизимские женщины сразу определили, что он не их веры, может, и нехристь, одним словом — чужой.

Я почувствовал себя неуютно, но в это время из-за штабеля леса на улицу выскочил телок, а за ним с хворостиной в руке — девушка лет двенадцати. Налетев с разбегу на меня, она не смутилась, а в упор и с неожиданной смешинкой в глазах спросила:

— Вам, дядя, кого?

— До конторы мне.

— А вон она на бугорке, видите? Только в конторе нет никого. Ежели директора падо, дак он в том доме с зелеными окошками, — тараторило юное создание. — А у вас знакомые тут есть, да? — И, не дожидаясь ответа, девушка бросилась за телком, шлепая босыми ногами по грязи. — У-у, проклятый!

Знакомые, верно, были: в Сизим недавно перебралась сестра моей жены, Аппа Максимовна Молодых, со своей семьей. Супруг ее, Харитон Поликарпович, встрече обрадовался и за завтраком не молчал, охотно рассказывал про свое житье-бытье. Многие им здесь было в повинку, но работой в леспрохозе были довольны.

После завтрака поспешил в контору с докладом о прибытии. Возле нее стояла грузовая машина, люди грузили вещи, видимо, догадался я, они и поведут плоты в Кызыл. Начальник лесопункта встретил недружелюбно:

— Почему вчера не доложил. Рыбачите дорогой, пьянствуете...

Пришлось дать ему достойный ответ. Видимо, он пришелся по нраву начальству, и оно сразу переменяло тон разговора:

— Позавтракал, говоришь? Тогда не будем терять время,

садись в машину, поезжай на берег готовить с рабочими плоты к отправке. Я следом буду.

На берегу уже собралось немало народу. В большинстве родственники отъезжающих на плотях лоцманов, они стояли плотной молчаливой толпой. У всех в памяти были свежи мрачные события прошлого лета. Сторож уже как старому знакомому пояснил мне:

— Видишь ли, сынок. Вода-то дурит, путь опасный, вот и пришли на берег целыми семьями провожать мужиков. Ровно на тот свет.

Однако многие сизимцы уже прослышали о катере и пришли поглядеть, как он будет буксировать плоты. Наверное, все здешние жители видели это небольшое судно впервые.

Запустив двигатель, даю катеру передний, задний ход — прочищаю турбину, забитую за ночь наносником. Лоцманы уже сгрузили свои пожитки на плоты, кидают нетерпеливые взгляды в мою сторону. Подхожу к первому плоту, упираюсь крюком катера в его торец и даю команду убрать гребни, отдать чалку. Берег медленно плывет мимо катера вниз. Вижу, люди на плоту волнуются, их ведь теперь не десять дюжих парней, а всего двое, читаю в их глазах нескрываемый страх: «А-ну как эта посудина не управится с водой — беды не миновать». Верхний конец плота уже подхватило течением, стало разворачивать поперек реки. Прибавляю оборотов двигателю, и катер легко выталкивает плот за середину реки, как-то уж больно обычно проводит его мимо коварного «бычка».

Люди на плоту облегченно вздохнули, радостно взялись за гребни. Наверное, такие же чувства испытывали и оставшиеся на берегу, потому что второй плот сопровождала уже не прежняя угрюмая, а оживленная толпа сизимских жителей. Пять плотов были вытолкнуты с рейда и препровождены мимо опасного скалистого выступа за какой-то час. Прежде на эту работу вручную ушло бы не меньше дня.

— Во, сила! — не удержавшись, восклицали сизимские бородачи.

Бригаду сплотчиков усилили, работа пошла споро. Едва на рейде подготавливали очередной став, я сплавлял его за ставший безобидным «бычок», там мужики увязывали ставы в плоты.

И на сплотке помощь катера была довольно ощутима. До обеда выполнил две дневные нормы. Теперь сизимцам не надо было, как бурлакам, тянуть на бечеве вверх по реке тяжелые плоты.

От ребятни не было отбою. Многие поутру, вместо того чтобы идти в школу, транзитом дули прямо на берег:

— Дяденька, прокати на катере, а...

Сизимцы не скрывали удивления: и как это они раньше обходились без дивного «кояя»?

А впереди ждали новые испытания...

В лесопункт пожаловал начальник облтопа Н. А. Борзенко.

— Ну, как?— спрашивает с нетерпением.

— Скучновато,— говорю,— товарищ начальник.

— А если катером возьмешь плот на буксир — и до Кызыла?

— Лады, вода хорошая,— соглашаюсь без раздумий.

— Хорошая-то хорошая, но учти — путь шибко кривой.

— Давайте опытного лоцмана, а остальное — дело техники.

Виду не показываю, а в душе сомнения: справлюсь ли? Ведь путь, действительно, извилистый, масса всяких ловушек на нем. Решили на всякий случай оставить на плоту кормовую гребь, чтобы лоцманы в опасных речных раскатах оберегали корму от ударов о берег.

Свели шесть ставов в плот. Лес подобрали добрый, кубатурный, как говорили сизимцы, кубометров двести в нем было. Дали мне опытного лоцмана Ивана Юркова, четверых рабочих к гребям, и мы вышли в Кызыл.

В речных раскатах рабочие хлестали кормовой гребью до десятого пота, но им не всегда удавалось погасить нежелательный ход плота. Его затягивало к самому берегу, под лесной навес, и тогда рабочие падали плашмя на бревна, чтобы не быть сброшенными с плота низко нависавшими над водой лесинами.

Глядеть на эту картину было и смешно, и грешно. Надо было что-то предпринимать. Прошли уже середину пути, когда я решился попробовать перед заходом плота в крутой поворот брать его, что называется, на излом,— вытягивать вереницу ставов в противоположном течению направлении. Получалось неплохо: раскатка гасилась. Оказывается, мощность и маневренность катера вполне позволяли сплавлять плот без всяких кормовых гребей. Опробовав еще несколько раз новый способ сплава плота на речных поворотах, я дал команду рабочим убрать подальше ненужные гребни, а им самим отдыхать до самого Кызыла.

На одном из поворотов повстречался катер Михаила Ши-

кина, оказывается, его тоже послали за плотом в Сизим. Я в это время как раз гасил раскатку плота. Шикин внимательно присматривался к работе катера, убранными гребями и отдыхающим на плоту рабочим. И когда я на третий день снова вышел в Сизим и повстречал в пути Шикина — его плот был без гребей и рабочих на нем.

Так было положено начало механизированному сплаву леса по Малому Енисею.

Взрывы над порогом

Сизимский леспромхоз был в стадии закрытия. Доступные лесные массивы по Малому Енисею иссякли, и там производили зачистку лесосек.

Большая часть техники и оборудования по случаю свертывания лесозаготовок в Сизиме переправлялась в новый лесопункт Сыстыг-Хем. В это же время начал строиться Ырбанский лесозаготовительный участок, в восемнадцати километрах выше Сыстыг-Хема, с перспективой заготовок ста и более тысяч кубометров леса в год.

Тоджа испытывала большие перемены. Сплавной же путь оставался прежним, крайне неустойчивым. Масса заломов в узких местах полностью перекрывала русло ходовых протоков, заставляя воду искать новые пути. Смытый при этом грунт откладывался ниже, создавал обилие кос и отмелей; эти новообразования вновь принимали на себя лес, падающий с подмытых берегов, и все повторялось сначала. Особенно тяжело было проводить плоты в Сорока Енисеях. До требований судоводителей улучшить сплавной путь, казалось, никому не было дела.

Но вот в 1958 году управление местной промышленности выделило средства для очистки Хутинского порога от камней. С этой целью в январе пятьдесят девятого и была послана специальная бригада из судоводителей. Расчет был простой: кто как не работники флота хорошо знают порог.

Вооружившись инструментом, взрывматериалами, бригада на самолете прибыла в поселок охотников Севи, что в тридцати километрах выше порога. По прибытии к порогу мы, прежде всего, отремонтировали полусгнившую избушку, которая и стала нашим нехитрым жильем на полторы недели. Севинцы дали нам в аренду одну рабочую лошадь, как они говорили, самую уносливую.

Объем работы предстояло выполнить большой. Прежде всего надо было убрать в пороге два огромных и каверзных

камня — Гостюхинский и Рваный. Они постоянно вставали на пути смельчаков, и на их счету было больше всего жертв. Планировалось также зачистить правое «плечо» поворота между порогом и подпорожком, а в самом пороге — расчистить и углубить левобережную борозду для обеспечения прохода катеров вверх своим ходом.

К работе приступили дружно, используя все имеющиеся средства, но в плап пришлось внести существенные коррективы. Дело в том, что самый главный наш враг — Рваный камень с высокой шапкой льда стоял посреди бушующих волн. Подступиться к нему казалось невозможным. Посоветовавшись, решили наводить мост к нему. Подвезли на лошади несколько хлыстов (конь и впряжь был, что твой тягач). Один из них стали надвигать вершиной на камень: комель оказался достаточно тяжелым, чтобы не дать вершине провиснуть и зарыться в волну. Так мы заправили вершину хлыста на купол обледеневшего камня — остальное довершили за нас брызги и мороз: конец бревна был надежно «припаян» к макушке Рваного.

Дальше было уже легче. Один из нас, подстрахованный обвязанной вокруг пояса веревкой, оседлав бревно, должен был перебраться на злополучный камень. Вызвался Александр Сомов. Он аккуратно, без всякой спешки, медленно, но уверенно двигался к намеченной цели.

Александр как можно выше подгибает ноги, но со стороны кажется, что подошвы подшитых валенок вот-вот лизнут бушующие волны порога, нарушат шаткое равновесие «циркача» на обледенелом бревне, и тогда... Тогда абсолютно нежелательная холодная ванна. Правда, на такой случай у нас прямо на льду, на каменном пастиле, разложен жаркий костер, запасены кусок войлока, меховой тулуп и сухая одежда.

Но воспользоваться ими, к счастью, не пришлось. Александр, добравшись до ледяного купола, в первую очередь, вытащил из ножен охотничий нож и стал долбить лед у хлыста, чтобы обеспечить для него надежное гнездо. Потом выдолбил ямки для упора ног, после чего слез с бревна и с усилием сдвинул его в гнездо.

На душе у всех отлегло: основа для штурма «злодея» заложена. А Саша, отвязав от себя конец веревки, кричит:

— Давай второе бревно!

На его лице видна безграничная радость.

Второе бревно оказалось в приготовленном заранее гнезде гораздо быстрее. Теперь Александр смело встал на этот мост из двух бревен и быстро перешел по нему к костру и теплоте

тулупу. Все же вынужденное сиденье на обледенелой макушке, енисейский хиус и обжигающие брызги волн сделали свое дело. И понадобилось определенное время, прежде чем Александр перестал выстукивать зубами бешеную «чечетку».

Дальше дела пошли своим чередом. Тщательно осмогрев камень и ледяной островок вокруг него, мы решили аккуратно выдолбить котлованчик для взрывчатки. Требовались особые умение и смелость: осуществить задуманное означало рубить сук, на котором сидишь. «Рубить сук» изъявил желание Николай Васильевич Нугис. В прошлом он работал на приисках в разведработках на выморозке — значит, решили все, рука у него набита.

Николай Васильевич с хорошо заправленным инструментом перебрался к месту работы и не спеша, сантиметр за сантиметром, легкими ударами кайла расширял и углублял ледяной котлован.

Остальные время не теряли и готовили такой же котлован на Гостюхинском камне, подводили взрывчатку, шили и промасливали разогретым солидолом брезентовые мешки. К половине дня работы по углублению котлованов пришлось прекратить, ибо на их дне лед стал влажным и мягким. Значит, близко вода. Один неосторожный удар — и вода фонтаном ударит в отверстие, мигом затопит небольшой котлован — начиная через день-два все сначала. Нужно было дать возможность глубже промерзнуть котловану.

Чтобы не простаивать, стали готовить котлован на камне «Интеграл». Всей бригадой ходили по льду и гадали, где он есть. Дело в том, что предполагаемое место камня было скрыто высокими, трехметровыми ледяными торосами. Общими усилиями определили примерное место и приступили к вскрытию льда.

Однако на следующее утро многие засомневались, там ли они углубляют котлован. Люди бросили работу. Втроем с Нугисом и Молодых мы пошли убедиться в правильности выбранного участка. Котлован на месте предполагаемого камня достиг уже двухметровой глубины. Признаки же камня пока обнаружить не удалось. Спустившись в котлован, мы освободили его нижнюю часть от крошева мелкого льда и стали, прислонившись ухом к днищу котлована, прислушиваться к шуму воды. Но это не подкрепило наши догадки. Стали вглядываться сквозь прозрачные участки льда и нашли, что прямо под нами есть что-то черное, не иначе, камень. К тому же, Николай Нугис заметил, что лед с боков стал влажнее, чем середина дни-

ща котлована, а это означало одно: мы не ошиблись в расчетах — камень под нами.

Задабливаем лунку, углубляемся на шестьдесят сантиметров. Вдруг лом упирается во что-то твердое: удача! Мы точно атаковали камень. Расширив по возможности пробную лунку, оставляем ее на попечение мороза до следующего утра.

Вернувшись и застав всю бригаду на перекуре у костра, мы сообщили, что местонахождение камня определено точно и часть его даже оголена. Ребята не поверили и пошли проверить, так ли это. Николай Васильевич пригрозил им вслед:

— Не вздумайте спускаться в котлован и долбить лед. Беды не оберетесь.

С этого дня Нугис как особый мастер ходил по котлованам и дополнительно углублял их ровно на столько, на сколько за ночь промораживало лед.

Первым готовым к закладке взрывчатки оказался камень «Интеграл». Вокруг его оголенной головки ровными пластинами уложили 350 килограммов аммонала, придавили камнями с боков и сверху. Подвели несколько бикфордовых шнуров с взрывателями, аккуратно засыпали опасное место мелким льдом и снегом, слегка сбрызгивая крошево водой. Затем котлован полностью завалили глыбами льда — все это делалось под руководством опытного взрывника Яковлева, которого мы просто звали дядя Саша.

Взрыв решено было произвести назавтра. Крепко промерзшая толща льда в котловане должна была умножить действие взрыва. Эффект оказался изумительным. Из укрытия было видно, как огромный столб льда взметнулся вверх более чем на сто метров; земля содрогнулась, раздался оглушительный гром, и уж потом сверху посыпались глыбы камней и льда.

Гулкое эхо еще раскатывалось по высоким скалистым берегам, а мы уже всей бригадой бежали к месту взрыва. В огромной воронке с почерневшим от взрыва крошевом льда бурлила вода — камня объемом в несколько десятков кубометров вроде и не существовало...

Люди реки

В ту навигацию помощником ко мне напросился брат Николай. Художник-пейзажист, он много времени провел на Бий-Хеме, первым среди живописцев Тувы добрался до истоков Улуг-Хема и запечатлел на полотне рождение великой сибирской реки.

На долбленке с приспособленным мотоциклетным мотором он преодолел более четырехсот километров опасного пути, изобилующего стремительными течениями, шиверами, порогами, мелями. Лишь оленеводов можно было встретить в этих краях да вездесущих рыбаков.

Надо сказать, что в стремительных тоджишских реках и речушках водилась много тайменя, ленка, хариуса, сига, окуня. Шуку, язя, сорогу, налима здесь вообще не считали за рыбу.

В тот свой первый вояж по Бий-Хему, рассказывал брат, подплыл он как-то к берегу и застал рыбаков за работой. Тонь выбирать не торопились. Старшой быстро прошелся в лодке вдоль невода, прощупал взглядом тонь и взмахнул рукой: «Выворачивай невода». Невод тотчас перевернули, тонь развязали и всю рыбу выпустили в реку. Николая прямо-таки ошеломила такая работа. Он хорошо видел в той тони крупных хариусов, а вся масса пойманной рыбы превышала два центнера. Но еще больше удивило художника спокойствие рыбаков. На его вопрос, почему выпустили в реку хорошую рыбу, старшой резко ответил: «Значит, была нехорошая».

На чужого человека они посматривали с какой-то опаской и не без зависти. Закурив, они окружили моторную лодку Николая, жадно рассматривали ее и сыпали наперебой вопросами: как проплыл порог, шиверы, сколько времени плыл, сколько потребовалось бензина?.. Удовлетворившись ответами, рыбаки и сами разговорились.

— Видишь ли,— обстоятельно, ответил старшой артели.— Хариус-то дешевая рыба, а вот ленок и таймень на пятнадцать копеек за килограмм дороже. Оно, конечно, и хариус рыба отменная, можно бы его больше поймать, но ведь рыбу еще нужно засолить. А соль мы на своем горбу сюда доставляем, почитай, за сто верст. Вот и выходит, что соль стараемся истратить на добрую рыбу, чтобы больше заработать...

Николай, всю сознательную жизнь посвятивший реке («Бий-Хем надо знать наощупь, чтобы передать его внутреннюю мощь и силу на полотне»), не только художник. В технике разбирается не хуже механика, и мы с ним вдвоем быстро устраняем недостатки на катере.

На последнем перед открытием навигации совещании многие настаивали на прежнем способе проводки плотов через порог. Пришлось вступить в спор относительно его несовершенства. Во-первых, экипажу нет нужды в третьем человеке, все обязанности которого сводятся лишь к приему с катера бук-

сирного троса, а после прохода порога — передаче его снова на катер; промокший до нитки, он не скоро попадет в тепло и согрется, если к тому же его не снесет волной с плота. Вторых, учаливание катера в хвосте плота представляет большую опасность: его может насквозь прошить выбитым из става бревном. И в-третьих, нельзя не учитывать тот факт, что большинство плотов предстоит сплавлять из тяжелой древесины — лиственницы, а это не ель или сосна, и идти на поводу у тяжелого плота в пороге небезопасно.

— Как же тогда проходить порог? Совсем отцепиться от плота, что ли? — съязвил задетый за живое Лавейкин. Первым успешно спустивший катером плот через порог, он считал свой метод совершенным.

— Только методом буксировки, — спокойно ответил я.

Присутствующий на совещании главный инженер лесозавода Н. К. Попов сразу уловил преимущества обычного способа сплава плотов и поддержал инициативу:

— Тысяча рублей премии тому, кто освоит буксировку в Хуте.

— Что ж, Николай Корнилович, — ударили мы по рукам, — записывайте мою фамилию первой.

Сейчас, по прошествии более двух десятков лет, я лишь улыбаюсь той горячности и страстности, с какой все мы рвались покорить Хутинский порог. Не так давно в качестве пассажира плавал в Тоджу на быстроходной «Заре». Волновался по старой памяти: как нас встретит порог? А его, оказывается, уже давно никто не спрашивает об этом. Три-четыре не очень сильных толчка, три-четыре волны, разбившиеся об иллюминаторы теплохода, — и коварный порог позади. Будто и не стало его вовсе на Бий-Хеме.

Но он все же есть. Баржи, медленно поднимающиеся с грузом вверх, не могут осилить порог — им помогает в этом дизельная лебедка на туере. Да и на спуске плота через Хутинский нужен глаз да глаз.

В конце же пятидесятых нам все было в новинку, все доставалось трудом, через преодоление ошибок. Отсюда страсти и даже конфликты. Люди на флоте, как и в любом другом коллективе, подобрались разные, с разной степенью мастерства и житейского опыта, но, пожалуй, одинаковые в одном — в отношении к делу. Да иначе и не могло быть: река — она ведь не тротуар, чтобы по ней бездумно ходить; людей с ленцой наша работа сразу, как говорится, выводила на чистую воду, и тут уж ничего не попишешь — таких в коллективе не держали.

Зато костяк речфлота всегда оставался крепким — из опытных лоцманов, ветеранов.

Вспоминается Харитон Поликарпович Молодых. Малограмотный, с детства познавший хлеборобский труд, испытавший все ужасы войны (в 1942 году тяжело раненым попал в плен к фашистам и освобожден был лишь в 1945 году) и тяготы восстановления народного хозяйства, он не чурался никакой черной работы.

Вернувшись после войны в родную Ильинку, долго не задержался в селе. Шесть едоков — семья приличная, и Молодых решил, что на стороне он заработает больше, чем в полуразвалившемся колхозе.

Так он оказался в Сизимском леспромхозе. Первые годы был на плотницких работах, валил и сплавивал лес. Безотказного во всем, его заметили и уговорили пойти на катер. Трудолюбивый, способный, схватывающий все на лету, Харитон быстро освоил новую профессию. В пятьдесят девятом Молодых встречал уже третью самостоятельную навигацию.

Михаил Иванович Шикин с юных лет работал в качестве подмастерья у кустарей, кузнечных и ружейных дел мастеров. И хотя рабочие учителя не раз отмечали в нем смекалку, дальше кузнечного меха и молота не пускали. Понадобилось два года, чтобы доказать мастерам, что он может «работать с железом» не хуже их самих. Так Шикин самостоятельно встал к наковальне. На золотых приисках нужда в мастеровых людях была большая, и Михаил пошел работать на прииск Харал.

Было у него еще одно любимое дело — охота на хищных зверей. Он досконально изучил повадки волка, рыси, росомахи, медведя. В этом ему помогли местные охотники, чему немало способствовало хорошее знание тувинского языка. Получилось так, что кузнец стал приемщиком пушнины. В самые потаенные уголки Тоджи проникал Шикин, добираясь до оленеводов и охотников. Пушнину принять — это не все, нужно еще завезти охотникам провиант, продукты питания, одежду. Поневоле пришлось стать шофером — не на себе же понесешь трехтонный «рюкзак».

В послевоенные годы к нему за помощью обратились геологи, и Шикин охотно пошел к ним проводником. Когда геологи что-нибудь находили ценное в Тодже, он радовался: значит, говорил себе, это и его находка тоже.

О речном флоте не имел никакого представления, но реки Тувы, особенно Бий-Хем, знал отменно. Любая река — это как книга без конца, и каждый день вносит в нее какую-то новую

страницу. Так вот Михаил Шикин, как никто другой, хорошо разбирался в реках. Это обстоятельство, видимо, и сыграло решающую роль при выборе новой профессии — судоводителя. Катер, на который он устроился работать, по своей конструкции был весьма прост, бензиновые двигатели Шикину были знакомы, и вскоре он водил судно по верховьям Енисея как заправский капитан.

Как-то по осени сплавливал лес по Малому Енисею, попал в сплошной туман, налетел на мель и опрокинул катер. Это чуть не стоило жизни его супруге, которая плавала с ним к родственникам в Верховье. Под ее энергичным нажимом сдался и, уволившись из леспромхоза, пошел работать в охотуправление егерем в поселке Шуурмаке. Браконьеры сразу почувствовали в новеньком непреклонного стража природы и лишь ждали удобного случая, чтобы «расквитаться» с пришельцем.

Но за них это едва было не сделал хозяин тайги. Однажды Михаил, обследуя один из участков, притомился, слез с лошади и решил перекусить. Едва сварганил нехитрый обед, как собаки сорвались с места и подняли на кого-то злобный лай. Из густой заросли внезапно выскочил огромный медведина — и ходом на егеря. Не будь верных собак, разъяренный зверь разом подмял бы под себя человека. Пока медведь отгонял собак, Михаил, мигом утратив обычную солидность, подхватил ружье, не помня как, дослал патрон в патронник и в упор выстрелил в зверя, приготовившегося к последнему прыжку. По инерции медведь покрыл расстояние между ними и рухнул у самых ног человека, в бессильной злобе бороздя огромными когтями почву. Второй выстрел намертво пригвоздил хозяина тайги к земле.

После того случая Шикин от стана в тайге без ружья не отходил. Вскоре, однако, Михаил Иванович вернулся работать на флот: зов Енисея оказался сильнее любви к тайге.

Разные пути-дороги привели людей в речной флот. И уж, конечно, никак не гадал о том старатель Василий Поздняков, подавшийся в 1947 году после закрытия прииска Нарын на лесоповал в Сизим. Позднее наловчился сначала помощником, а потом и лоцманом вручную сплавливать плоты по Малому Енисею. Малый-то он Малый, но по нраву вряд ли уступал Бий-Хему. Массой крутых поворотов со свальным течением, с нависшими над водой деревьями, так и поровившими зацепить и сдернуть с плота в реку зазевавшегося, многочисленными отмелями и подводными камнями, сильными ветрами и туманами Малый Енисей до седьмого пота прошибал опытного лоцмана, прежде чем пропускать плот до Кызыла.

И когда на Сизимском рейде появился первый катер,

Василия Марковича потянуло к нему, как железо к магниту. Однако в навигацию 1954 года на катер ему не удалось пробиться, но в следующую он все же добился своего. Поздняков при этом проявил большую жадность до судоходческих наук, каждую свободную минуту его можно было увидеть с книжкой в руках (вот когда пригодились шесть классов сельской школы). Поздняков прямо-таки замучил меня беспрестанными вопросами: а это — что, а то — почему? Однако я старался передать помощнику свои знания. И уже через год Василий Маркович самостоятельно встал за штурвал катера.

Спокойный, молчаливый человек, Поздняков мог показаться угрюмым, если бы не его рабочая сноровка, умение быстро принимать верные решения, не раз и не два вызволявшие экипаж катера в сложных ситуациях. Коренной сизимец, из старообрядческой семьи, в которой враждебно сторонились «мирских», Поздняков бросил вызов родителям и всему старообрядческому Верховью, отказавшись от его обычаев.

Из всех речников, пожалуй, один только Николай Васильевич Нугис был, что называется, прирожденным. С малых лет он связал свою судьбу с нелегким делом сплавщиков леса. Вырос он без родителей, дедушка много внимания воспитанию внука не уделял: не шалит — и то ладно. Бросил школу — что ж, самому жить, пусть похлебают мурцовки.

А «мурцовка» — овцы да коровы, за которыми присматривал пастушок. Не уберет животину какую из частного стада — пастушонка могли и побить; впрочем, могли побить и просто так, на всякий случай. И когда паренька заметили плотогоны Бурени, он с радостью расстался с «рогатым племенем».

Повалить и вывести лес к воде особой сложности не представляло, но сплавить его по Бурени, реке не просто своенравной, но дурной, мало было смельчаков. Плотогоны приноровились. Часть леса отправляли до устья Бурени самосплавом, часть сплавивали в салики и сплавлялись на них вниз, выказывая при этом бесстрашие, ловкость и... бесшабашность. Любой из заломников, коих было не счесть на реке, мог навсегда угомонить смельчаков.

На устье Бурени плотогоны ловили бревна, наращивали салики до ставов, связывали их друг с другом тросами — и плот готов.

Незадолго перед войной Нугис переехал с семьей на прииск Хопто и долгие годы работал там, пряча в душе прежнюю страсть. Все-таки не вытравил ее, с новой силой вспыхнула она в душе Николая, властно позвала за собой в только что организованный Сизимский леспромхоз.

Работал и разнорабочим и на повале леса. Обращал внимание на себя особой сноровкой и надежностью в работе. Мечту потаенную скрывал и ничем не выдал себя, когда устроился помощником лоцмана на сплаве плотов по Каа-Хему. Может быть, только тщательносе других изучал сплавной путь. И очень удивил выдавших виды сизимских плотогонов, когда на спор (надо же такое!) самостоятельно сплавил плот до Кызыла. Помог тяжкий опыт Бурени.

С появлением на сплаве леса катеров Нугис возликовал. Он не разделял страхов стариков, их буйные пересуды по части того, что-де залезли нехристи в тайгу с машинами, тракторами, а теперь и на воде появилась нечистая сила: гудит, дымит, воду месит и всю живность в ней.

А с живностью произошли изменения, но не в ту сторону, о чем судачили бородачи. В Сизиме вскоре появилась много хариуса, за какой-то час можно было ведро патакаться на простую удочку. И уже иначе толковали мужики: катер-де работает в устье реки, видно, винтом своим загоняет в Сизим рыбицу. Однако вскоре их догадкам пришел конец, после того, как многие устьсизимцы не досчитались сетей, намотанных на винт катера. Не раз и не два приходилось корму судна вытаскивать на берег и срезать ножом с винта рыбацкие сети.

Так устье Сизима было полностью освобождено для рыбы, идущей вверх на нерест, и река вновь стала богатой хариусом. Сизимцы теперь уже не видели в катере нечистую силу, и вовсе не удивились, когда Нугис перешел работать на него.

В навигацию 1955 года он был закреплен помощником к Лавейкину и оказался как нельзя под стать тому. Сам старшина катера слабо разбирался в речной обстановке и во всем положился на помощника. Так и продолжалось их содружество, в результате которого один досконально изучил сплавной путь, а другой — устройство и тонкости эксплуатации катера.

В 1957 году мечта Николая Нугиса сбылась: он самостоятельно встал за штурвал катера. Межнавигационный период 1958 года оказался для Нугиса самым тяжелым: учеба в Минусинске. Малограмотный (едва закончил два класса сельской школы), Николай с большим трудом постигал азы науки. Но рядом всегда были товарищи, более грамотные, они помогли Нугису вытянуть нелегкую лямку ученичества и вернуться домой с дипломом старшины катера.

Владимир Иванович Лавейкин в речниках оказался волею случая. После окончания службы в армии, в 1953 году, приехал в Туву и устроился в Горную экспедицию, где ему, ни разу не бывавшему на реке, доверили водить катер. До конца сезона он

и проработал на нем, выполняя разные хозяйственные работы. Изучив до некоторой степени устройство катера, мало-мальски освоив судовождение, он считал себя уже опытным судоводителем. И с появлением катеров в облтопе устроился туда на работу...

* * *

Перед открытием навигации 1961 года мы праздновали и Первомай, и передачу нашего коллектива в подчинение Министерству речного флота СССР. Так был организован Верхне-Енисейский эксплуатационный участок Енисейского речного пароходства. Это было признанием наших заслуг: на ведомственных картах путь по Енисею от Кызыла до Тоора-Хема был обозначен судоходным.



Кызыл-Эник КУДАЖИ

ПУШКИН И ТУВА

Сто пятьдесят лет прошло со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сто восемьдесят восемь — со дня его рождения.

В творческом наследии пушкинская тема — самая чистая и самая звонкая. В ней — душа народа, «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Творческий мир Пушкина огромен, в таком случае тувинцы говорят, «как океан без дна, как небо без опоры и как земной шар без пояса». Сегодня пушкинский гений волнует все человечество, интерес и уважение к нему безграничны, творения великого поэта переведены почти на все языки мира. И во многих странах планеты благодарными потомками воздвигнуты памятники Пушкину, и сотни, тысячи улиц, проспектов, площадей, городов, морских судов, музеев, школ названы его именем. Я их видел не только у нас в Советском Союзе, но и во многих странах мира.

Александр Сергеевич Пушкин — великий поэт, прежде всего, великого русского народа. За то, что он дал миру такого чародея языка, как Александр Сергеевич Пушкин, улуг четтирдивис — спасибо нашему великому русскому брату! Пушкин — русский национальный поэт, вместе с тем он принадлежит всему человечеству. Его творческий мир необъятен и неисчерпаем. В рамках одной статьи все сказать о нем невозможно.

Постараемся коснуться только маленького кусочка огромной пушкинской темы, а именно — живительного влияния Пушкина на развитие нашей тувинской литературы.

В ее новую, белую, как подобает при молодой хозяйке, юрту великий Пушкин вошел как бы одним ударом весенней грозы и остался в ней навсегда.

Это было полвека тому назад. Шел 1937 год. Всего шестнадцать лет прошло после победы Народной революции в Туве и только семь лет минуло, как создана была тувинская письменность. Мы тогда учились в летних школах, за месяц учебы, как правило, заканчивали первый

класс, в следующем году опять летом таким же образом одолевали второй. А там нам говорят, что мы уже ученый народ и пора учить других. И мы, едва сами выучившись грамоте, уже учили тех, кто по той или иной причине от нас отстал. Время было такое, необыкновенное.

И вот однажды наш первый учитель показал нам маленькую книжку. Мы с трудом, по буквам сложили название: «Чыынды чогаалдар», значит, «Собрание сочинений». Оказалось, это была первая книга произведений начинающих тувинских писателей. Специальным разделом в книге были опубликованы переводы стихов А. С. Пушкина. Мы тогда впервые услышали имя великого поэта. Книга читалась, как говорится, от корки до корки и зачитывалась до дыр. Звучали стихи Пушкина везде и всюду: на пионерских сборах, у костров, на концертах и после собраний, просто в юртах и шалашах. Я до сих пор наизусть знаю первый перевод на тувинский язык знаменитого стихотворения Пушкина «Памятник». Отличный перевод! Его сделал один из зачинателей тувинской поэзии Сергей Пюрбю, впоследствии народный писатель Тувинской АССР.

Наш учитель объяснял нам тогда, что Пушкин под тунгусами и калмыками подразумевал и нас. Мы этим ужасно гордились — великий русский поэт знал нас, тувинцев!

Среди первых переводчиков пушкинских произведений в Туве был Сарыг-Донгак Чымба. Имя Александра Маныгеевича Чымба как государственного деятеля хорошо известно трудящимся нашей республики. А вот что он писал стихи и даже переводил Пушкина, наверное, знают теперь немногие. Он точно перedal на тувинском языке «Вакхическую песнь», гордые слова о «солнце бессмертном ума».

До конца своих дней занимался переводом произведений Пушкина наш народный писатель Степан Агбанович Сарыг-оол. Всю жизнь он учился у Пушкина и многому научился. Степан Агбанович как большой труженик, как писатель, требовательный к себе и другим, к своим пушкинским переводам возвращался не один раз — снова и снова читал, сверял, проверял, переделывал, пока не получалось, как надо.

Есть замечательные стихи Пушкина, их мы знаем с детства, школьной скамьи — «Послание в Сибирь». Перевод, сделанный С. А. Сарыг-оолом в 1937 году, звучит так:

Хая-дашты казып үрээр
Ханы уургай дувүнге-де,
Кам чок түрзэн күжүңерни
Кады-биле туттуңар.

Деңгелзиреп човаан күжүңер,
Тергиии ханы бодальңар.
Дөмей халас черле барбас,
Дедир негеп алыр силер.

Ответ декабристов Пушкину так же хорошо был переведен Салчаком Лопсаном. Общественный деятель, ученый, журналист, Салчак Сот-

паевич очень много сделал для развития культуры Тувы. Мне приходилось с ним вместе работать, он был человеком эрудированным, с широким кругозором. Первая строфа ответа декабристов Пушкину звучит в его переводе так:

Каң-на хылдыг допшулуурнуң
Казыргылыг үнү кээрге,
Кара демир чыда туткаш,
Кадыг-чидиг тулуштувус.

Очень тувинские строки, понятные простым араатам и по духу, и по содержанию. Я хорошо помню, что тувинская молодежь, женщины, араты пели строки из стихотворения А. С. Пушкина «В Сибирь» и ответа декабристов на тувинский мотив как свои песни, иные не знали даже, чьи это слова, кем они написаны. Именно в этом заключается величие Пушкина, его близость к простым людям, народность его произведений.

Другим отличным переводчиком Пушкина был, несмотря на занятость общественно-политической деятельностью, С. К. Тока. Он тогда работал сначала министром культуры ТНР, затем стал Генеральным секретарем ЦК ТНРП. Как видите, в те бурные годы вопросами литературы и искусства занимались буквально все — от рядового работника до генсека. Мы уже говорили, что С. К. Тока писал сам и переводил; премьер-министр, или по-тувински эренгей сайыт, А. М. Чымба тоже писал и переводил. Президент ТНР Х. А. Анчима тоже писала, и сейчас пишет.

С. Тока в 1937 году впервые перевел хрестоматийное стихотворение А. С. Пушкина «К Чаадаеву». Заключительные строки переданы весьма достоверно:

Хостуг эрге херээ-ле дээш,
Хайнып турар чүрээвисти
Хамык чоннуң херээнейге
Хажык чокка берээл, эжим.

Амыдырал айдың даңы
Адар-ла деп ынан, эжим.
Ак-ла хаанныг Орус чуртта
Албатылар оттуп-ла кээр.

Буруу каргыс хаан чазаан
Буза-чаза үрегдээли.
Бусту берген тогланчыга
Бодувусту чуруур-ла боор.

Казалось бы, на этом точка поставлена. Все хорошо и лучше быть не может, по-тувински — ажырбас, хамаан. А переводчик, видимо, был недоволен, может быть, это мучило его долгие годы. И вот в 1953 году,

через шестнадцать лет, С. Тока вновь пересматривает свой перевод. В результате получился настоящий классический образец перевода художественной литературы:

Шынчы күзел хостал күзеп,
Амдызында дириг турда,
Шылгараңгай угаанарны
Ада-чуртка өргүүл, эжим.

Амыдырал чырык даңы
Адып кээрге, Россия
Уйгузундан оттуп кээр деп,
Улуу-биле шынзык, эжим.

Хамык чоннар хайнып үнер,
Хаан чазак буступ дүжер.
Бузудунга адывысты
Будуп, сиилип бижип каарлар.

Какие пророческие слова поэта, какой точный перевод!

И скажите: многие ли из нас сегодня способны так совершенствовать свои переводы?

Я привел здесь в пример первых «ласточек» великой русской поэзии на тувинской земле. С них началась настоящая жизнь бессмертных творений Пушкина в Туве.

Из прозаических его произведений первой переведена на тувинский язык «Капитанская дочка» в 1938 году, почти полвека тому назад, сотрудниками Комитета печати ТНР под наблюдением А. М. Чымбы. Тираж три тысячи экземпляров, по масштабам того времени — большой. Книга была выполнена во всех отношениях на высоком полиграфическом уровне.

Особенно много переводилось на тувинский язык произведений А. С. Пушкина в пятидесятые годы. Читатели тогда получили такие книги поэта, как «Дубровский», «Повести Белкина», «Пиковая дама», «История села Горюхина», «Песнь о вещем Олеге», «Стихи и поэмы» и другие. В переводах активное участие принимали С. Тока, С. Сарыг-оол, С. Пюрбю, О. Саган-оол, Б. Ховенмей, С. Самба-Люддуп, С. Сюрюн-оол, Ю. Кюнзегеш, М. Кенин-Лопсан, Д. Монгуш, М. Хомушку и другие. Большим событием в культурной жизни трудящихся нашей республики было издание в 1956 году на тувинском языке романа в стихах «Евгений Онегин» в прекрасном переводе С. Пюрбю. Теперь все основные произведения великого поэта переведены на тувинский язык.

Но не об одних переводах здесь речь. Не менее важно влияние Пушкина, его поэзии, прозы, его литературных воззрений на творчество писателей Тувы.

С. К. Тока говорил: мы все вышли из пушкинских сказок. Я добавил бы — и из стихов Пушкина, его вольнолюбивой лирики и просто лирики, полной безмерного уважения к женщине и восхищения самим

чудом любви. Когда касаешься в творчестве этих тем, невольно оглядываешься на Пушкина, равняешься на него, как бы мысленно просясь у него совета.

Своим учителем в литературном труде называл Пушкина С. А. Сарыг-оол, не раз на встречах с читателями говорил, что по стихам Пушкина, Лермонтова, Некрасова и русскому языку учился, и пониманию поэзии.

И о прямом влиянии необходимо сказать. В конце 30-х — 40-х годов стали появляться в тувинской литературе крупные сюжетные поэмы, по широте охвата событий и характеров и глубине их раскрытия граничащие с романом в стихах. Я имею в виду прежде всего «Чечек», для которой С. Б. Пюрбю даже строфу придумал особую, подчиняющуюся всем законам тувинского силлабического стиха, и в то же время, без сомнения, близкую онегинской строфе. И «Алдын-кыс» С. А. Сарыг-оола, представляющую собой, особенно в первой части, фактически, роман в письмах, что, без сомнения, вытекает из писем Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне... Конечно, героев и Сарыг-оола, и Пюрбю волнуют, кроме единых для всех времен и народов любви и вольности, совсем другие проблемы, чем пушкинских Евгения и Татьяну, и совсем другая обстановка, бытовая и историческая, окружает их. Но в поэтическом отражении и разрешении этих новых проблем многое идет от Пушкина, а прямая зависимость формы не вызывает сомнений.

Вспомним еще и «Балладу о первом письме» С. Б. Пюрбю. Тема — самая актуальная для Тувы того времени, когда эта баллада была создана: возникновение национальной письменности, появление возможности выражать свои чувства и мысли в переписке. И здесь письма влюбленных юноши и девушки напоминают главы «Евгения Онегина», в метрике тувинского стиха слышится пушкинская мелодичность.

Для Пюрбю и Сарыг-оола характерны прямые обращения к Пушкину в стихах: один из наших народных писателей увидел в великом русском поэте и «Волгу, и Урал», другой от лица арата написал, что при перекочевке, «свернув, как привычно, юрту», бережно кладет «на выюк любимый портрет»:

Зелень родных лугов мне кажется неуютной,
если его со мной на новой стоянке нет...—

и само стихотворение как бы портретизирует поэта:

Пушкин передо мной. С задумчивого портрета
в сердце мне устремлен лучистый и строгий взгляд.
С юности до седин душа моя им согрета.
Чту его, как богов в кумирнях буддийских чтят.

И, пожалуй, самое главное:

Как шаману шаман вручал, умирая, бубен —
так от песен его голос мой зазвучал.
Строгий, лучистый взгляд во мне вдохновенье будит,
так, как дарят снега кипенье горным ручьям...

Вот это «как шаману шаман», чисто тувинский образ, дает всему стихотворению и отчетливый национальный колорит, и какую-то таинственность, заставляющую опять-таки вспомнить пушкинские строфы: полное чудес, волшебства и тайн вступление к «Руслану и Людмиле», Музу, явившуюся еще юному поэту «при кликах лебединых», «Парков бабье лепетанье», нимф и nereid, и мрачноватую таинственность «Песен западных славян»... Как удивительно, при всей разнице быта, обычаев, верований сходен фольклор разных народов, как близка их поэзия!.. Такие мысли возникают при чтении Пушкина и многих лучших стихов зачинателей тувинской литературы.

А «Капитанская дочка»? Тяга к историческому повествованию, свойственная многим из нас, тувинских прозаиков, поэтов, драматургов разных поколений, идет и от этой книги, прочитанной большинством из нас в юности или даже в детстве. В поэме Юрия Кюнзегеша эта «большая книга», найденная девочкой-пастушкой в пещере в горах, и ее герои — Пугачев, Гринев — действуют наравне с нашими современниками, самой девочкой, ее братом и окружающими, и с их легендарными предками — Шестьюдесятью богатырями.

В наши дни пушкинская тема повернулась еще одной гранью: в стихотворении, написанном, когда вся страна и мировая литературная общественность отмечали 150-летие гибели великого русского поэта, Александр Даржай с иронией, думается, идущей от пушкинских эпиграмм, оглянулся на стиль жизни и творческие дела свои и поэтов своего поколения и вынес четкий и не подлежащий обжалованию приговор. Не в нашу, разумеется, пользу, тянуться нам и тянуться до Пушкина, рasti до него и расти...

И, наконец, наш театр обратился к пушкинским произведениям. На сцене сейчас идут спектакли по «Маленьким трагедиям» и сказкам великого поэта. Хочется, чтобы Александр Сергеевич постоянно присутствовал на нашей сцене.

Вместе с этим нельзя сказать, что у нас все идет ровно и гладко. Перевод произведений Пушкина — сложнейшая, ответственная работа, она далеко не каждому по плечу. И нечего скрывать, многие пушкинские стихи и проза переведены слабо, непрофессионально, без знания законов художественной литературы, особенностей творческого почерка великого автора. Последний, второй перевод «Капитанской дочки» я лично считаю неудачным.

Не менее важно (и тревожно) другое: переведенные на тувинский язык произведения Пушкина у нас выходят мизерными тиражами — две или три тысячи экземпляров. И в то же время многие детективные романы

западных писателей, и далеко не одних классиков, издаются у нас, в Туве, десятками тысяч. Какие цели при этом преследует наше издательство? Ясно, только коммерческие. Но мы — не коммерсанты и не бизнесмены. У нас на первом плане — коммунистическое воспитание трудящихся, особенно молодежи, на лучших традициях русской классики, а значит, творчества А. С. Пушкина.

В-третьих. За последние три десятилетия, начиная с шестидесятых годов, мы совсем перестали издавать произведения Пушкина. Переведенные книги поэта не выходят в свет повторно. Вот, пожалуйста, примеры: со времени издания на тувинском языке перевода романа «Евгений Онегин» прошел 31 год, «Дубровского» — 35 лет, «Капитанской дочки» — 38... Этих книг теперь не найдешь, как говорится, днем с огнем. За последние десятилетия выросли люди других поколений, многие из которых, к нашему великому сожалению, не читают Пушкина на своем родном языке из-за отсутствия переведенных книг. С этим пора кончать.

И последнее. Мы, к нашему великому стыду, до сих пор не имеем на тувинском языке Собрания сочинений Пушкина. Факт вопиющий! Хуже не придумаешь! Это при всех современных благоприятных условиях — у нас давно сформировался свой литературный язык, имеются творческие и переводческие силы, опыт накоплен, энтузиазма — в избытке. Нужна только организаторская работа.

Дадим же себе слово, что будем хранить, изучать, распространять бессмертное наследие Александра Сергеевича Пушкина как начало всех начал.



Мария ХАДАХАНЭ

СЛОВО О ДРУЖБЕ

Тема интернационализма в тувинской литературе звучала всегда. Особенно ярко — в годы Великой Отечественной войны и послевоенные.

Стоит только вспомнить образы русских людей Каа-Хема в «Слове арата» С. Тока, начиная с первой книги трилогии, и образы его московских учителей — в третьей, заключительной книге. Русский язык постигался юным батраком в дружбе с Веденеем, Данилкой, Мыкылаем, Савелием, Верой, эти уроки стали и первыми уроками политграмоты. Свет дружбы наполняет всю книгу. Араты тепло говорят о Ленине и революции.

Попытку художественно осмыслить факт добровольного вхождения Тувы в состав СССР С. Тока сделал и в пьесе «Осуществленная мечта», показал там образы русских людей. В многочисленных статьях и выступ-

лениях он всегда подчеркивал огромное значение дружбы народов, был подлинным интернационалистом, говорил о глубоком уважении к братским народам. Тесное общение с людьми разных национальностей укрепляло и развивало интернационализм писателя.

С. Сарыг-оол в автобиографической «Повести о светлом мальчике» показал картины дружеского сближения тувинцев и русских врачей; мальчик Ангыр навсегда запомнил светлые, как незрелая смородина, глаза русской докторши: «и те три следа, что сделала она на моей руке, так и остались навсегда в моем сердце».

В 1944 году Туву облетело его вдохновенное стихотворение «Я — гражданин Советского Союза», с тех пор оно постоянно звучит со сцены в исполнении чтецов и певцов. О «любимом сыне моей матери» — русском солдате, о столице нашей Родины пишет в те годы Сарыг-оол:

Москва тувинцев приняла, как мать,
нам подарила имя — москвичи,
учила нас искусство понимать,
вручила нам познания ключи.

В стихотворении «Вечная слава» он печалится:

На Украине дружеской, там,
где окончился путь твой солдатский,
головою к тувинским хребтам
ты в могиле покоишься братской.

Город Ровно тебя приютил,
по тебе украинки рыдают,
и венки у солдатских могил
полыхают и не увядают.

И в жизни Степан Агбанович был подлинный интернационалист, дружил с якутами и киргизами, русскими и бурятами, и жена, Мария Давыдовна Черноусова, была ему верным другом и помощником в творчестве, а теперь — хранитель памяти и пропагандист всего созданного им.

Заботливо растил зеленое деревце тувинской литературы О. Саган-оол. Его рука хранила тепло пожатий А. Фадеева, Л. Соболева, М. Шолохова, Н. Тихонова. Он переводил на тувинский язык Пушкина, Лермонтова, Горького. Он благословил в литературу не только многих тувинских, но и русских писателей. Замечателен его рассказ «Дружба», в котором он повествует о русской девушке-враче Марии, приехавшей в далекий район, о том, как бережно охраняет ее покой скромный тувинский парень-проводник Адар-оол, рассказывая о своем крае, чтобы она полюбила эту землю и не уезжала отсюда. Девушка хочет научиться понимать и говорить по-тувински. Так было и в жизни: сотни русских, советских специалистов приехали в Туву в 40—50-х годах и внесли

большой вклад своим трудом, своим энтузиазмом в становление края. Приезжие учителя, врачи, сельские специалисты нашли здесь место в жизни, вторую родину.

Старшее поколение тувинских писателей воспело братство народов как насущное, важное качество советского образа жизни. С. Пюрбю, В. Ховенмей, Л. Чадамба, Д. Бегзи... За ними вслед среднее поколение — Ю. Кюнзегеш, К. Кудажи, Е. Танова писали много об этом, правда, чаще в жанре оды, праздничного восхваления, как было принято в те годы.

Для Юрия Кюнзегеша понятие Родины — не только Тува, а вся большая Советская страна. Одной из главных тем его поэзии является тема исторической памяти народа: Ленин, Октябрь, партия, гражданская война. В поэме «Простая повесть» он показал образ русского коммуниста Иннокентия Сафьянова, активного участника революционных событий в Туве. Лирический герой стихов и поэм Кюнзегеша думает о судьбах своих современников во всем мире; привлекает включенность поэзии Кюнзегеша в мировой процесс, ее общечеловеческий пафос. Тема солидарности людей разных наций и стран — одна из главных в творчестве поэта, а самая глубокая его боль — за будущее Земли, естественно выражающаяся в борьбе за мир, против войны.

«Славлю тебя, дорогая Москва,

Славлю тебя, золотая Тува!» — пишет О. Сувакпит. Для его творчества также характерно воспоминание о воинском братстве в балладах и поэмах о гражданской войне в Туве, о подвиге тувинских добровольцев под Ровно, благодарностью русскому, советскому специалисту пропикнуты его строки, посвященные агроному Ольге Чуевой.

К. Кудажи в романе «Улуг-Хем неугомонный» исследует корни дружбы с русским народом еще в начале века, хотя семья Черемисыных нарисована в несколько сентиментальных тонах. А перед сорокалетием Советской Тувы он написал стихотворение «1944-й год», посвященное добровольному вхождению Тувы в состав Советского Союза. Тогда же созданы строки:

Россия моя и Тува моя,
хочу вас сердечно обнять:
друг друга так дополняете вы,
как будто дочь и мать!

Один из героев ранних стихов С. С. Сюрюн-оола, старик-тувинец, хорошо говорит по-русски и на вопрос: «Русский знаете давно ли?» — с гордостью отвечает: «С партизанских юных лет!» — не декларативно, а в конкретном личностном проявлении, без высоких слов, но глубоко осознанно.

В повести «Это — любовь» С. Сюрюн-оол показывает межнациональные отношения на примере одной молодой семьи. Психологический конфликт возникает в отношениях старой матери-тувинки к русской

невестке. Общим трудно искать пути к сердцу друг друга, нелегко дается им взаимопонимание. Писатель убедительно рисует ломку старых представлений, свободу любовного выбора.

В стихах М. Кенин-Лопсана юноша болеет душой за Испанию («Мы — дети Пасионарии»), много написано им о Ленинграде:

Ленинград, он входил властно в душу мою,
теплым ветром касался моей головы,
мне казалось, что я Улуг-Хема струю
различаю в державном теченье Невы.

Строки о декабристах, о М. Горьком, о русских ученых естественно входят неотъемлемой частью в его творчество. Широко известно его стихотворение «Изучайте русский язык». Яркий пример выхода за рамки тувинской темы в крупном произведении — поэма М. Кенин-Лопсана «Песнь о Марии Цукановой», героине Великой Отечественной войны, русской девушке, уроженке Хакасии. В романе «Судьба женщины» образы русских людей, в сравнении с капитаном Саянцевым и переводчиком Иннокентием в первом произведении Кенин-Лопсана в жанре большой прозы «Настигающий птицу», более проработаны, они глубже и интереснее. Это матрос с «Авроры», одноногий Саша, прозванный аратами «Чер-Каскан» т. е. копающий землю. Пропагандист ленинских идей среди тувинцев-бедняков и батраков, он героически погибает, живо зарытый в землю белогвардейцами вместе со своим тувинским другом. Это и русский ученый Рубов с его добродушием и пытливостью, прототипом его образа послужил профессор А. А. Пальмбах, один из создателей тувинской письменности, 90-летие которого мы отмечали в прошлом году. Оригинальный образ и судьба Чучаккай, зеленоглазой девочки, русской по рождению, тувинской аратки по воспитанию: жертва белогвардейцев, спасенная и воспитанная патриархальной аратской семьей, она панически боится всего, что связано с русскими, прячется, не хочет учиться грамоте, носить вещи, купленные в магазине. Но влияние Рубова и передовых аратов побеждает предрассудки, и выросшая Чучаккай становится, вместе с мужем и окружающими, на путь новой жизни. В романе «Юрта табунщика» тема дружбы народов своеобразно раскрывается на примере разнонациональной семьи врача-тувинки Ошкулдей и пограничника-украинца Тараса Повидайко.

В поэме «Песни Хемчика» и прозаической «Повести о старшем брате» Е. Танова также создает образы русских людей, особенно сочно выписаны характеры семьи кузнеца в поэме.

Часто показывает разнонациональный рабочий коллектив в прозе Д. Сарыкай, интересна его маленькая повесть о русском солдате, ветеране войны «...И он пролил кровь».

«Литература всего легче и лучше знакомит народ с народом, — писал А. М. Горький. — ...Идет процесс обмена свойств и качеств, созда-

ется тип нового человека. Россия дает миру великий урок, показывая, как надо соединять разнородное в единое по духу, по цели».

Особое место занимает разработка интонационального характера в советской литературе. Талантливо писали Т. Семушкин о Чукотке, Н. Тихонов о Грузии, В. Луговской о Туркмении, М. Ошаров о народах Севера, П. Лукницкий о таджиках, А. Коптелов в романе «Великое кочевье» — об алтайцах. А. Коптяева создала обаятельный образ якутки медсестры Вари в романе «Иван Иванович», Г. Федосеев поведал об эвенке Улукиткане, о его мужестве, человечности, огромном знании природы, в повести «Последний костер». Н. Шундик в популярном романе «Белый шаман» показал не только северную экзотику, а дал художественно-философское осмысление жизни Пойгина, его мысли о жизни и смерти, добре и зле, о нравственной ответственности человека перед собой и людьми.

В. Распутин писал о тофаларах, В. Астафьев — о долганах, В. Тельпугов — о чабанае Шойдане с большим лиризмом: «И видятся мне через трепещущее его (костра) пламя озаренные, словно вызолоченные, смугловатые, обожженные морозом и ветром лица пастухов». Тут есть перекличка со стихами о Туве П. Бровки:

Смуглые, из меди сплошь отлитые,
нас тувинцы приглашают в дом.

Яркий образ цыгана Будулая с новыми чертами советского человека-гражданина создал А. Калинин в романе «Цыган». Это книги о лучших чертах и лучших людях народов Советского Союза. Взаимный интерес народов, обмен духовными ценностями говорит о тесных межнациональных связях. Тувинские поэты посвящают стихи Украине, Средней Азии, Монголии, народам Сибири. Рождается и ответный отклик писателей Якутии, Хакасии, Алтая. Пишут о Туве латыш О. Гутманис, украинцы М. Пшеничный и Ф. Зубанич.

Возвышенно-поэтически писал на тувинскую тему С. Щипачев в стихах «Улуг-Хем», «Депутатка», «Хургулек». Вся нежность и теплота чувства звучали в строчках:

Словно Азия древней земля,
все в морщинах твое лицо.
...Как цветы синих гор и степей,
я слова о тебе собирал.

Ответные взволнованные строки были у С. Сарыг-оола, С. Пюрбю, Б. Ховенмея, других. Можно бы составить солидную антологию стихов тувинских поэтов о русской поэзии и языке.

Очерк В. Коженикова «Дузаламчи» («Помощь») был в 1943 году одним из самых первых, из самых теплых и задушевных слов благодарности тувинскому народу за вклад и участие в Великой Отечественной войне: «Этот народ нельзя не любить так же, как свой народ». В те же годы о тувинских добровольцах писали во фронтовых газетах. Тогда же

создал поэму «Россия» о братьях Шумовых, уроженцах Тувы, А. Прокофьев; в 1960 году он приезжал сюда, чтобы встретиться со своими героями, и написал новые стихи о нашем крае — «Центр Азии», «Горы», «Саяна», «У Шумовых сегодня шумно...» Плодотворными были контакты с Тувой поэта С. Гудзенко. В 1948 году в очерках и стихах он осмысливает огромные изменения в жизни народа.

Необходимо отдать должное художественным книгам и очеркам Ю. Промптова, Г. Курочкина, Г. Кубличко и Е. Рябчикова, повестям С. Георгиевской и В. Ширяевой, Г. Снегирева, И. Бруни, И. Забелина, Р. Итса, В. Тельпугова, М. Ганиной, хотя Тува и жизнь ее народа воспроизведены в них с неодинаковой степенью достоверности.

Со знанием жизни народа нашей республики писали о ней В. Еромолаев, Н. Сердобов, пишут М. Пахомов, С. Козлова, А. Емельянов, В. Бузыкаев.

Хорошо сказал о двуязычии Ч. Айтматов:

«Русский и киргизский языки для меня, как две руки — левая и правая. Думать на русском языке для меня все равно, что снимать широкоформатно, это раздвигает рамки видения».

Хочется вспомнить замечательную по своему интернациональному духу книгу С. Капутикян «Кровля Армении» и процитировать:

«Малочисленные народы похожи на большие семьи, они особенно чутки к тому, когда воздают должное их истории, они стремятся заявить о себе, самоутвердиться, чтобы чувствовать себя увереннее, ощутить свою нужность. Это, видимо, им жизненно необходимо.

...надо, чтобы люди состязались в том, чтобы доставить радость друг другу, в том, чтобы превзойти друг друга в доброте. Желчная нетерпимость к другим нациям — результат убожества и бессилия. Наш патриотизм счастливый. Он конкретен, осязаем, осязтим. В постоянном общении с самыми разными культурами мы хотим со всех полей собрать нектар и суметь этот мед отдать родному улью. Строить родину — это значит не только оглядываться назад, а глядеть вокруг и вдаль, в сегодня и завтра. Думать кичливо, что наша нация имеет свое особое место в мире и должна жить обособленно, значит не возвышать, а умилять свой народ, превращать его в племя, в род».

Способствовать единению и дружбе народов, в национальном характере героев подчеркивать общесоветское, интернациональное — долг наших писателей.



Светлана ЛЕБЕДЕВА

СОТВОРЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ

Тувинских писателей порой упрекают в увлечении исторической тематикой. Действительно, в литературе Тувы исторические произведе-

ния занимают значительное место, в своем развитии они опережают опыт романа о современности, стимулируют его рост.

Это нетрудно объяснить: тувинские авторы художественно осмысливают историческое прошлое в гораздо более короткие сроки, чем, скажем, русские. Вместе с тем резкое противопоставление исторических произведений повествованиям о современности неправомерно: всякое талантливое реалистическое произведение участвует в решении общественных проблем сегодняшнего дня. Не вызывает сомнений также значение художнического взгляда на историю с высоты достижений современности.

В тувинской прозе на долю исторического романа выпали особые функции. В нем определяются важнейшие структурные черты крупного эпического вида. Именно в историческом повествовании кристаллизуется принцип историзма, освоение которого позволяет авторам дать художественно правдивую картину народной жизни, показать ее движущие силы, передать эволюцию национального характера.

Как же реализуется, скажем, в романе К.-Э. Кудажы «Улуг-Хем неугомный» историзм литературы — важнейший принцип эстетики социалистического реализма?

Документальная основа дилогии К.-Э. Кудажы бесспорна, автор воспроизводит важнейшие события истории Тувы: выступление аратов против местных и иноземных угнетателей, партизанское движение в Урянхайском крае, победа Тувинской народной революции, Всетувинский учредительный хурал, провозглашение Танну-Тувы самостоятельным государством и другие.

Кудажы использует исторический материал по-разному: в его непосредственной форме — в виде писем, распоряжений, донесений, протоколов. Но чаще художник «ставит документ на ребро» (М. Шагинян): под пером автора реальные факты разворачиваются в яркие картины, полные глубокой эмоциональности и драматизма. К ним можно отнести динамичные сцены штурма монголами и тувинцами Кобдо, эпизоды разгрома аратами китайских факторий, сражений партизан. Эти и многие другие сцены романа, созданные на документальной основе, знакомят читателей с укладом жизни народа, показывают время через отношения людей, передают характеры персонажей. Документализм при этом проявляется не в дословном воспроизведении эпизодов по каким-то источникам, а в общей достоверности передачи событий, в конкретно-исторической детализации.

Почерпнутые у историков детали в романе разбросаны по тексту, а это — доказательство преобразующей работы писателя, глубокой трансформации документа.

Вот, например, свидетельство ученых-историков: «Значительная часть феодалов и высшего духовенства открыто поддерживала белогвар-

дейцев, чтобы с их помощью подавить национально-освободительное движение аратов или по крайней мере направить его в нужное русло.

Чамзы хамба лама в 1919 году ездил в Омск и выпросил у правительства Колчака подачку в 20 тысяч рублей серебром для сколачивания контрреволюционных сил в крае...» (История Тувы. Т. II.— М.: Наука, 1964).

«Отталкиваясь» от документа, Кудажи в образной форме воссоздает эпизоды встреч Чамзы и Колчака, домысливая возможные диалоги реальных и вымышленных персонажей. В результате — событие в целом не имеет следов внешнего документализма, композиционно и по содержанию не дублирует историческое свидетельство, хотя документ и составляет фактическую основу эпизода. Словом, автору удалось «расколдовать», «размаскировать» (М. Шагинян) документ, а это доступно лишь истинному художнику.

Своеобразным камертоном, определяющим звучание, тональность повествования, явились документы, непосредственно введенные писателем в текст. Причем функции их в романе Кудажи разнообразны. Прежде всего, документы помогают автору создать канву времени, определить место действия, ввести читателей в водоворот событий, усилить их напряженность. А это, в свою очередь, подчеркивает реальность, жизненность воспроизводимых событий.

Но документализм — еще не гарантия правдивости изображения. При всей важности постижения фактов для исторического романиста не менее значимо изучение внутреннего мира человека, «отражение события не в документе, а в самой человеческой душе» (Л. Леонов).

Современные литературоведы придают проблеме психологизма большое значение. Это понятно: повышенный интерес к духовному миру людей определен самим нашим временем. Невозможно постичь сегодняшний день и историю без обращения к человеку.

В романе «Улуг-Хем неугомонный» мы наблюдаем за развитием характера Буяна, главного действующего лица. В изображении исторически подвижного национального характера, в показе «диалектики души» героя — проявление осознанного историзма писателя.

Автор подчеркивает обусловленность эволюции образа социальными причинами — влиянием событий, общением с другими персонажами. Первый протест юного Буяна — «у Мангыра чейзена воровать и у других богатых» — возникает после избиения баем Сульдема, отца мальчика; затем — участие в стихийных выступлениях кайгалов против баев, как результат сближения с Когелом и Хаспажыком; дружба с Губановым и Жулановым, встречи с Кочетовым, Щетинкиным — и участие в партизанской борьбе. При этом перед художником стояла сложная задача: изобразить судьбу героя не как частные житейские случаи, а как проявление

общих тенденций революционного развития, важнейшая из которых — совершенствование человека, формирование в нем качеств бойца.

Автор не идеализирует Буяна. Неграмотный, плохо понимающий происходящее, юноша многое постигает природным умом. Ему свойствен дар наблюдательности, он стремится разобраться в мотивах поступков людей. Кудажи удалось передать сам процесс мышления, характерный для героя, его склонность к анализу: «Но почему,— размышлял Буян,— живя у одной речушки, так по-разному ведут себя баи Барыка?... Собрутся вместе — будто друзья, а напьются — раздерутся и переругаются... Бедные люди другие...»

Мы наблюдаем за мучительным движением героя к истине: «Зачем мы нападаем на купцов? Конечно, из-за того, что они жадные. За бесценок скупают у аратов скот и пушнину, грабят народ... Ну, а разгонят они китайцев, потом что?»

Перед нами человек, понявший необходимость исторических перемен: Буян еще не знает, где правда, но он усомнился в справедливости существования бедных и богатых.

Кудажи показывает, как постепенно все более насыщается социальным содержанием и усложняется мышление юноши. «Но разве не самое великое счастье — участвовать в борьбе? Да, борьба продолжается... Он, Буян, помогает рождению партии и сам станет членом этой партии...»

Это — размышления уже зрелого борца за счастье народа, убежденного пропагандиста завоеваний революции.

Примечательно, что автор не преподносит Буяну мысль, решение в готовом виде, облегчая этим свою задачу. Писатель стремится показать сам процесс внутренних исканий героя, «уловить драматические переходы одного чувства в другое», изобразить таинственный процесс, посредством которого вырабатывается мысль или чувство» (Н. Г. Чернышевский).

Но следует признать, что К.-Э. Кудажи использует в романе не все возможности психологического анализа. Психологической насыщенности повествования мешает описательность, информационная скоропись. Персонажам порой не хватает психологической глубины, убедительных мотивировок, определяющих их действия. Остаются загадкой, скажем, мотивы многих поступков Саванды, Соскара — братьев Буяна. Да и некоторые действия главного героя психологически не мотивированы (решение Буяна расправиться с Соскаром из-за его женитьбы на Ончатпе, например).

Упор делается на событийность, при этом бросается в глаза преобладание рассказа над показом, описание событий над изображением героев «изнутри». Можно сказать, что характеры не всегда поспевают за обгоняющими друг друга событиями.

Это особенно ощутимо во втором томе дилогии, когда в жизнь тувиновцев врывается ветер революционного обновления. Динамика реаль-

ных событий ускоряет темп повествования — автор прибегает к своего рода монтажу стремительно чередующихся кадров. Главы насыщены историческими справками, призванными лишь дать представление о происходящем, так как само повествование не в силах угнаться за полетом событий.

Подобная описательность вызвана естественным стремлением автора как можно больше, полнее рассказать о судьбе Тувы. Но, к сожалению, при этом писателю не всегда удается достичь необходимого единства между общим и частным: движением истории и жизнью героя.

Причем историк в Кудажу нередко «вытесняет» художника: внешний очерк событий приглушает «внутреннюю сторону» истории, хроникальное изложение притупляет остроту, напряженность сюжетного действия.

Понятно, что такое разграничение ролей писателя условно и вызвано желанием Кудажу всесторонне осветить героическое прошлое Тувы. На это нацелены и глубокий документализм романа и стремление автора показать героев, прежде всего Буяна, в состоянии постоянной духовной активности. Все это углубляет историзм произведения К.-Э. Кудажу, «творит» его художественную правду.

Отмеченные же несовершенства повествования не удивительны: жанр исторического романа в тувинской литературе только-только начал «ходить самостоятельно». Тем более важно заботливо следить за его ростом, помня при этом, что задача исследования тувинской романистики состоит не только в констатации ее достижений, но и в определении того, что ей предстоит завоевать.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

<i>Любовь Батурина.</i> Поздние весны. (Повесть)	3
<i>Монсуи Кенин-Лопсан.</i> Свидание через годы. (Из романа «Колыбель-вам»). Перевод <i>Э. Фояковой</i>	25
<i>Анатолий Бармашов.</i> Светлая Падь. (Повесть)	41
<i>Михаил Дююгар.</i> Волчья ночь. (Рассказ). Перевод <i>М. Рамазановой</i>	65

ДЛЯ ДЕТЕЙ

<i>Александр Шоюн.</i> Отцов подарок. (Рассказ). Перевод <i>М. Рамазановой</i>	75
<i>Борис Чюдюк.</i> Тенек-Кара. (Рассказ)	78
<i>Татьяна Кызыл-оол.</i> Елка в лесу. (Сказка)	81

ПОЭЗИЯ

<i>Александр Даржай.</i> Плач игила. (Поэма). Перевод <i>В. Евлатова</i>	83
<i>Куулар Черлиг-оол.</i> Ты носила меня на спине. (Баллада о матери). Перевод <i>Ю. Вотякова.</i> На пути домой. «За высокие горы...» Переводы <i>И. Дубниковой</i>	93
<i>Светлана Козлова.</i> ДОРОГИ, ЛЮДИ, ГОРОДА: Путь к коммунизму. (Подмосковье, 1952 г.) Глаша. Рассказ милиционера. (Кызыл, 1961 г.) Бич. (Тайшет, 1972 г.) Картинка с выставки. (Москва, 1982 г.) Хола Бухора. (Бухара, 1984 г.) Вторая встреча. (Самагалтай, 1986 г.) Дежурство по номеру. (Кызыл, 1987 г.)	98
<i>Владимир Серен-оол.</i> Приезжайте!.. Три камня в очаге. Тайна. Верность	109
<i>Юрий Конзегеи.</i> С землей Тувы навек соединен. Мерген-река. Переводы <i>В. Гордеева</i>	113
<i>Евгений Антуфьев.</i> Незаконно. «Я все давно тебе простил...» Песни. Пробуждение. В феврале. Холостяк. Разговор	115
<i>Аргыч Ховалыг.</i> «Могуч таланта луч!..» «В созвездьях, горящих в ночной вышине...» «На добром коне на долгие дни...» Переводы <i>В. Гордеева</i>	117

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

<i>Степан Сарыг-оол.</i> Клара Дончи-оол. Перевод <i>К. Емельянова.</i> «Твой чистый взгляд...» «Как могло это все сохраниться!..» «Нужто наш угрюмый Кара-Даг...» Переводы <i>А. Емельянова</i>	119
--	-----

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Вячеслав Тимофеев.</i> Инфляция слова. (Мысли вслух)	125
<i>Трофим Филиппов.</i> Путь в Тоджу. (Записки ветерана). Литературная запись <i>В. Бузыкаева</i>	132

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<i>Кызыл-Эник Кудажы.</i> Пушкин и Тува	151
<i>Мария Хадаханэ.</i> Слово о дружбе	157
<i>Светлана Лебедева.</i> Сотворение художественной правды	162

*На 1, 2, 3 стр. обложки фоторепродукции работ М. Х.-С. Черзи
и Д. Х. Дойбухаа.*

УЛУГ-ХЕМ № 24

Литературно-художественный альманах

Редактор издания *В. А. Бузыкаев*. Художественный редактор *М. Ч. Чооду*.
Технический редактор *А. А. Чернова*. Корректор *А. С. Казанцева*.

Сдано в набор 3.02.88. Подписано к печати 16.05.88. ТС 00700. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Физ. печ. л. 10,5. Усл. печ. л. 9,77. Усл. кр.-оттисков 10. Уч.-изд. л. 9,67. Цена 65 коп. Тираж 2000 экз. Заказ № 886. ТП 1988 г. Тувинское книжное издательство, 667000 Кызыл, ул. Щетинкина и Кравченко, 57. Типография Госкомиздата Тувинской АССР, 667000 Кызыл, ул. Щетинкина и Кравченко, 1.

65 коп.

КЫЗЫЛ

ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО